

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

ПРОБУЖДЕНИЕ

РОМАН*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

II

В Россию пришла война. После Одессы и Мариуполя переломили об колено слабое древко флага “русской весны”, ослабел воинственный и победный поток с телеэкранов, и чем чаще в сводках появлялись сообщения о погибших мирных жителях, обстрелянных очередях на пропускных пунктах через границу, тем бессмысленнее становились громкие политические заявления.

Новости приходили сумбурные, и не понять было, что правда, а что — отчаянно желаемое или просто лживое, но отсюда, с расстояния в тысячу километров, казалось, что там всё это время делается одно большое дело, и каждый шаг каждого человека продуман, подчинён единой мудрой воле. Что выбирается лишь момент, самый лучший, самый внезапный, чтобы обрушиться на новую киевскую власть и смести её одним ударом. Но жертвы продолжались, и сопротивление постепенно вязло в болоте, а худощавый усатый человек в армейской форме, на которого все так надеялись и чьих регулярных сводок из Славянска ждали каждый день, сначала бодрился, говорил о глупости украинских военных, об их нежелании воевать с собственным народом, а потом вдруг стал всё чаще повторять, что ополченцев не так много, что оружия не хватает и что помощи ждут, но она не приходит, а помощь уже катастрофически опоздала.

Постепенно на той стороне оправились. Все эти митинги и протесты только ожесточили их, и теперь они навалились всей своей ржавой военной машиной: их войска больше не бросали бронетранспортёры, не убегали от мирных жителей, а с экранов рекой потекла кровь, и мы увидели и разрушенные бомбами дома, и убитых детей, и толпы беженцев — всё то, что несколько месяцев назад и представить было невозможно.

Впрочем, долгое время ещё непонятно было, чья берёт. Мы знали, что к Славянску стянуты большие войска, что они регулярно обстреливают жилые дома, громят блокпосты вокруг, захватывают близлежащие сёла, но в сам город войти по-прежнему не могут. Две силы вгрызлись друг другу в глотки: одни напирали, другие, хоть и проседали, но не сдавались окончательно, оттягивая время для кого-то там, в тылу, в Донецке, кто должен был

всё организовать и подготовить для дальнейшей борьбы. И уже столько раз говорили на украинских сайтах, что Славянск взят, что ополченцы бегут, но всякий раз опять появлялся ролик, где тот же худощавый человек медленно и монотонно говорил, сколько атак отбили, сколько техники повредили, и объявлял свои условия для начала переговоров: спокойно, с превосходством, как если бы сила была на его стороне. И тогда нам становилось понятно, что маленький полуразрушенный город уже никогда не падёт, что какая-то сила охраняет его и лишь мы, находящиеся бесконечно далеко от передовой, неправильно понимаем ситуацию. Но потом те собрались, выиграли время в бесплодных перемириях и, наконец, обрушились всей своей звериной ненавистью, и тогда, оставив Славянск, ополченцы отступили к последнему оплоту сопротивления — Донецку, и вся страна замерла в ожидании кровавого штурма миллионного мятежного города...

Тем временем те же люди текли по московскому метро, тот же душный воздух был повсюду, те же пыльные прилавки с ненужными никому одеждой, едой, газетами, и лишь в заголовках газет мелькало возбуждённое — санкции, санкции. Москва стояла каменно-равнодушной, взирая на лежавшую под ногами привокзальную грязь и на привычный человеческий поток, текущий в подземку. Она считала свою жизнь веками, и ей не было никакого дела до страданий и смертей отдельных людей, она делала вид, что знает своё, глубокое и важное, скреплённое тысячелетней мудростью, далёкое от людской сентиментальности, и сердиться на её холодность было так же бессмысленно, как бить кулаком в кремлёвскую стену.

В тот день я ехал провожать Рому, который на неопределённое время улетал в Таиланд. Зачем, почему — я так и не смог понять, знал только, что на работе он договорился, что будет программировать удалённо, а сама поездка эта представлялась ему приятной и интересной авантюрой. И пока я поднимался по переходу из метро, пока бродил по огромной площади у Киевского вокзала в поисках выхода к аэроэкспрессу, я никак не мог избавиться от мысли, что есть в этом какая-то глубокая справедливость — именно в тот момент, когда на Донбассе идёт гражданская война, украинец уезжает в Таиланд. “Нет у него теперь Родины, — думал я, — страна разрушена, и от неё нужно бежать без оглядки”. Но, разумеется, ни о чём таком я не заговорил с ним, во-первых, потому что его отъезд, конечно же, никак не был связан с Донбассом, а во-вторых, сказать такое вслух было, как ударить в спину.

Мы стояли у кассы аэроэкспресса, потому что оставалось ещё много времени до его отправления. Рома был одет в футболку и шорты, а у ног его лежала небольшая спортивная сумка.

— Вот, всё моё добро, — сказал он, разводя руками. — Остальное выбросил. Начинаю новую жизнь, Володя!

Вокруг толпились люди, ожидая, когда откроют массивную дверь, перегородившую турникетом с красной лентой, лениво мерцали настенные часы, неожиданно шумно заработал кофейный аппарат неподалёку. И уж совсем иллюзорной сейчас представлялась эта его будущая жизнь — какой-то Таиланд, пальмы, развлечения — такое могло быть только на чужих фотографиях, да и то нарисованных с помощью специальных программ на компьютере.

— И что тебе не жилось здесь? — спросил я, только чтобы что-нибудь спросить, ведь это был совершенно нелепый вопрос сейчас.

— Ну как, там солнце, новые места, новые знакомства, — ответил он, и мы посмеялись в тон его ответу, но без радости, потому что оба понимали, что многое меняется теперь.

Перебросились ещё несколькими обрывистыми фразами, но разговор упрямо уходил от Роминого виртуального будущего сюда, к настоящей некрасивой жизни. Вспомнили об Андрее и Кате.

— Ты отдал им деньги за июль? — спросил я, зная, что у них были разногласия по этому поводу.

— Да, отдал, — весело махнул рукой Рома, — не стал упираться... Конечно, изначально была ошибка — заселяться вместе, чего уж теперь ругаться по ерунде.

Я кивнул, потому что именно таким весёлым и немелочным любил его всегда.

— Эх, помню, как вы с Катей приходили к нам с Борисом, — заговорил он с неожиданной ностальгией. — Хорошие были времена, только их и буду вспоминать из этой жизни. Так-то я к Кате хорошо отношусь. Это этот, ячечный, — закончил резко, не выдержав благостной интонации. Я вздохнул, но с улыбкой, понимая его упрямый характер, с которым Рома и сам не мог ничего поделать.

В это время из толпы у входа вынырнул Борис. Он был загорелый, будто сам только что вернулся с юга, и, несмотря на жару, с лёгким ярко-красным шарфиком на шее.

— Слышали, говорят, Путина скоро уберут, очень многим он мешает, — сразу же заговорил он, ещё пожимая нам руки.

— Белоленточникам? — усмехнулся я.

— Да нет, почему, не только. Все теперь недовольны, как прижимать-то стало: зачем этот Крым, кому он нужен, санкции. Ты не в то время уезжаешь, Рома, тебе бы подождать, вдруг ваши начнут побеждать, вот тут самое интересное и начнётся.

— Да какое там интересное, всё равно тоска сплошная... на работу, с работы, — возразил ему Рома.

— Да, понимаю, — торопливо поддержал его Борис, — надоедает эта спокойная жизнь, хочется разнообразия, свободы...

Я знал, что он ёрничит — просто хочет беззаботно поболтать, вроде как о важном, но в то же время ни о чём. Но сегодня меня задевал этот его нарочито деловитый, а на самом деле едкий тон. И как можно было говорить, что тебе надоела спокойная жизнь, когда совсем рядом идёт война и умирают люди...

— Да зачем нужна такая свобода, — с досадой воскликнул я, цепляясь за его последнее слово, хоть и понимал, что Борис не упустит возможности поехидничать над моим искренним негодованием.

— Да, да, ты прав, — сразу же подхватил он, — надо быть в тренде, все эти заморские свободы и демократические ценности — вчерашний день, и нечего на сторону смотреть. У нас теперь железный занавес и духовные скрепы.

Ожидаемо засмеялся, а потом махнул рукой.

— Да, ладно, Володь, понимаю тебя. Всё развалили, Донбасс не взяли, струсил, теперь вот мнутя. Не власть, а бараны, — и я удивлённо посмотрел на него, потому что эта его горечь была настоящей.

Тем временем мужчина в форме свернул красную ленту турникета и распахнул тяжёлые двери, ведущие на перрон, и мы медленно двинулись в вязком потоке людей. На перроне было свежо. Где-то там, на улице, начался сильный дождь, потому что железный навес над поездом нервно скрипел от крупных и частых ударов. Обнялись на прощанье, Рома вошёл в вагон аэроэкспресса, а мы с Борисом через окно смотрели, как он успел занять свободное двойное сиденье и с удовольствием опустился в одно, а на второе положил сумку, а потом обернулся к нам и показал большой палец.

Ещё несколько минут мы стояли на перроне, дожидаясь, пока экспресс тронется.

— Я слышал, ты теперь тоже в “ячейке”? — спросил Борис, опять с лёгкой насмешкой.

— Не совсем ещё, — смутился я, — где-то рядом.

— Не ожидал от тебя, думал, ты окажешь большее сопротивление.

— Да я и сам от себя не ожидал...

Он хитро поглядел на меня, кажется, знал, но не спросил прямо, а сам я и не стал рассказывать. Наверно, потому что тогда бы он ещё меньше понял, почему я теперь хожу к ним, — свёл бы всё к личным причинам, хотя на самом деле это было не совсем так. Впрочем, попрощались мы довольно тепло. Борис пожал мне руку и спустился с платформ прямо в метро. Я же прошёл через холодные коридоры вокзала, чтобы опять оказаться на площади, где всего полчаса назад блуждал в поисках нужного входа.

Только что закончился короткий, но сильный дождь, и теперь повсюду лежали рваные лужи. Необыкновенно насыщенными и густыми, как на четкой контрастной фотографии, казались машины, фонари, дома вдалеке. Прямо передо мной остановился пузатый жёлтый автобус, куда торопливые промокшие люди ещё пытались спрятаться от дождя, которого уже не было. Другие по-прежнему укрывались за колоннами у входа в вокзал. Но вот постепенно стали оправляться, медленно, неуверенно выходили из укрытий, подставляя ладони, проверяя, правда ли шквальный ливень прекратился, и пока я шёл вдоль здания вокзала, всё вокруг вновь закипело — торопились прохожие, бодро и задорно зазывали таксисты, гортанно кричали отовсюду кавказские женщины: цветы, цветы надо, розы, тюльпаны. А я двинулся сквозь освобождённую взбудораженную толпу, по сверкающему под ногами асфальту и широко улыбался тому, что действительно могу сейчас купить большой букет, и это не будет нелепым озорством, потому что мне есть кому его подарить. И в то же время покупать этот букет мне было совсем не обязательно — я мог действовать так, как подсказет случайный порыв беззаботного вдохновения. И уже выветрилось из моей памяти досадное воспоминание о разговоре с Борисом: у меня была собственная жизнь, пронзительная и счастливая, и разве не всё равно мне было, кто и что об этой моей жизни сейчас думает...

У выхода на платформы пригородных поездов скопилось множество народа. Люди неловко перетаптывались, медленно продвигаясь вниз по лестнице, ведущей от касс к турникетам, а с верхних ступенек мне были видны их растрёпанные головы. Но никто, кажется, не злился вдруг образовавшейся толкучке: в этот тёплый июльский день всем было приятно постоять вот так, отдыхая от душного метро, и просто подышать пьянящей свежестью. Иногда что-то тихо и неразборчиво объявляли вдалеке. В электричке же эти мокрые красивые люди неуклюже и немного смешно садились на деревянные лавки, стараясь не задевать друг друга тёмными подолами плащей; некоторые счастливики держали в руках собранные, но не связанные ленточками зонты, оцетинившиеся, как букеты колочих роз; другие вытянулись, как вешалки, на которых сохнет насквозь мокрая одежда. А на ближайшем ко мне сиденье, неловко согнувшись, спал молодой охранник, приклонившись головой к окну. Июльское солнце пекло в его беззащитное детское лицо.

Я смотрел то на людей в глубине вагона, то на промышленные постройки и гаражи, пронесившиеся за заляпанным коричневыми потоками стеклом, и рассеянно думал, что вот ещё несколько минут назад здесь проезжал Рома на своём аэроэкспрессе, и, может, видел в окно то же самое, но для него это были только грязные гаражи, которые он хотел бы поскорее забыть. Он предвкушал свою поездку в Таиланд, надеялся, что его жизнь сейчас изменится, но всё это было иллюзией — от себя-то не убежишь. А я почему-то сейчас любил эти гаражи и этих красивых людей, и спящего охранника, и это полнокровное чувство казалось мне единственным настоящим в мире. Но с другой стороны, возражал я себе, может, и я ошибаюсь, может, моё всепоглощающее счастье — тоже иллюзия... Я вышел на платформу, миновал турникеты, а последняя неожиданная мысль навязчиво последовала за мной по пятам.

Мне нужно было попасть в парк Победы. Там я договорился встретиться с ребятами — в актовом зале музея Великой Отечественной войны на Поклонной у них проходило внеочередное собрание, связанное с последними событиями на Донбассе, только для членов организации или кандидатов — я же пока не был ни тем, ни другим и обещал просто подождать их у входа. Чтобы добраться до музея от Киевского вокзала, разумно было проехать одну станцию на метро, но я придумал воспользоваться электричкой и подойти к Поклонной горе с другой стороны. Так было и дольше, и даже менее удобно, но вполне в стиле моего сегодняшнего настроения делать не как рационально, а как хочется. Я вышел к подножью и устремился вверх, туда, где в самом центре неба виделся крылатый шпиль победного обелиска, а навстречу мне по ступеням текла вода, выплёскиваясь прямо в мои промокающие насквозь ботинки. Шагнул на огромную открытую площадку перед

музеем и оказался в середине “Колизея”, под взглядами тысяч невидимых глаз. Остановился на кончике бледной тени от обелиска, сел на корточки и стал ждаться. Между неровными квадратами мостовой тѣк ручеёк, иногда прерываясь, и никак не мог ни обрести полную силу, ни прекратиться.

Наконец, на пороге музея вдаль стали появляться люди, постепенно скапливаясь у дверей, перемешиваясь, видимо, прощаясь друг с другом. А потом три фигурки отделились от всех и, почти сразу же заметив меня, двинулись навстречу. Андрей и Катя, кажется, продолжали увлечѣнно о чём-то спорить на ходу: Катя размахивала руками, а Андрей только настойчиво наклонялся к ней в такт каждой фразе. Варя же шла немного отдельно, но тоже смотрела не на меня, а под ноги. На шее у неё развевался крошечный белый платок, тоненький, как она сама, и только когда до меня оставалось лишь несколько шагов, вскинула взгляд.

— ...откуда ты можешь знать точно, может, Стрелков и не предатель? Пишут же, что окружение, — не сдавалась Катя.

— Окружение было неполным, наши так писать не могли, это как выстрелить себе в ногу. Тут одни из просяковских подпевал, — отрезал Андрей, и на расстоянии нескольких метров уже видно было, как сильно он скривился при упоминании о таинственных подпевалах. — Приду — напишу статью. Падаль надо вскрывать!

Они приблизились, так что белый платок оказался вдруг совсем рядом со мной. Я мягко поцеловал Варю в тонкие губы. Это было так необычно, я всё ещё не привык, и она, кажется, тоже не привыкла, и мы секунду стояли, не зная, что же теперь делать.

Варя провела рукой по моим волосам:

— Я боялась, ты попал под дождь, — и принялась приглаживать взъерошенный клок.

Андрей с Катей чуть задержались, как бы давая нам необходимое время, а потом подошли, и мы встали у скамейки вчетвером, поглядывая друг на друга и слегка улыбаясь.

— Ну, как собрание, что было? — спросил я.

Варя задумалась, стараясь точнее сформулировать. Андрей тоже хотел было ответить, но всех опередила Катя:

— Я тебе скажу, что! Вчера он у них был герой, а сегодня уже предатель, и его дружно поливают грязью...

— Ну, раз он и есть предатель, — возразил Андрей.

— Но ты-то, ты откуда знаешь? Ты сам видел, как он предавал? — накинулась Катя, но в этом уже не чувствовалось прошлого надрыва, как у актѣра, в сотый раз выходящего на знакомый спектакль. Нет, переживала она всерьѣз, но в самой глубине души её было спокойно — у них с Андреем, кажется, всё окончательно наладилось, а всегдашние проблемы так и остались ранками на теле, залепленными пластырем: вроде бы касаться и больно, но крови и опасности уже нет.

Пошли по огромной аллее, они о чём-то говорили, а я всё ещё находил себя в своих мыслях и переживаниях. Вокруг было невероятно просторно, куда ни глянь — лишь голубая гладь да толща свободного воздуха, и повсюду пульсировали огненные блики: на стеклянных кособоких небоскрѣбах Новой Москвы вдаль, на переливающихся вуалях фонтанов, а один, густой, как молоко, смешанное с мѣдом, перекачивался по мокрой широкой мостовой. Но я не видел этого огромного мерцающего пространства вокруг — и только Варина влажная рука в моей руке связывала меня с миром вокруг.

Мы с Варей встречались уже второй месяц, но я всё не мог сжиться с ощущением невероятной полноты жизни, которое то и дело наполняло меня в её присутствии. Иногда во время таких приливов я с удивлением смотрел на себя со стороны: вроде бы вот совсем недавно мне могла ещё нравиться Катя, а теперь у меня есть уже другая девушка. И ведь с одной стороны — это было настоящее чудо, а с другой — и обыкновенное легкомыслие: тот, кто слишком сильно ищет любви, тот всё время и находит, к кому привязаться. Но нет, всё по-другому, спорил я сам с собой, сейчас я не вторгаюсь в чужое, это уже моё и это настоящее...

— Очевидно, задача была — свалить в Россию и тут на волне недовольства устроить майдан в Москве, — тем временем горячился Андрей. — И тут или сразу сместить Путина, или устроить гражданскую войну. Кургузов это доказал, как дважды два.

Из-за деревьев с правой стороны открылась коренастая, вросшая в землю, как нора сказочного зверя, кафешка со стеклянными окнами от пола до потолка и манила заглянуть на полчаса, съесть что-нибудь вкусненькое, выпить кофе. Мы вошли в томительный запах ванили и корицы, а где-то сбоку, встречая нас, недовольно забурчал кофейный аппарат. Внутри оказалось прохладно и приятно пусто — почти все столики были свободны. Лишь кое-где вдоль стен сидело по одному или по два человека, а между спинками стульев со смешной неуклюжестью бегал мальчик лет двух. Со всего хода он врезался в Катю, та весело ойкнула и ласково потрепала его по голове, а он разом смутился и, закрыв лицо руками, не разбирая дороги, побежал куда-то в глубину кафешки, где, видимо, сидели его родители. И хотя было уже часа три дня, во всём чувствовалась особенная утренняя беспечность. Мы расположились за самым удобным столиком на мягких диванах, сделали заказ, и постепенно нас разморило от ленивого ожидания, и даже Андрей немного расслабился. Иногда ещё они с Катей опять начинали всплеском спорить о чём-то, но надолго их не хватало — в воздухе кафешки, как в молоке, вяз любой слишком резкий всплеск.

У столика напротив оживлённо болтали три девушки, слова произносили неразборчивым шёпотом, но смеялись громко, и эти звонкие переливы доносились до нас. Варя наливала мне густой оранжевый чай из прозрачного заварника, а я из озорства дотрагивался до огонька маленькой свечки, которая должна была этот заварник подогревать, стараясь перебить пламя на секунду, но не затушить совсем. Мы сидели в уютном зале, пили карамельный капучино и вкусный облепиховый чай, ели мягкие сдобные колечки, пропитанные кремом и шоколадом, молодые счастливые люди, и ничто не могло развеять наше лёгкое беспечное счастье.

— Виделся сейчас с Борисом, — опять вспомнил я, — он тоже следит за новостями и переживает, — но сразу же заметил, как Андрей скривился:

— Борис — типичный хохмач, для таких людей нет ничего святого.

— Да нет, — заторопился я, — Борис не либерал какой-нибудь. Он просто не рисуется, не хочет свой патриотизм выпячивать...

— Было бы что выпячивать, — усмехнулся тот. — Скажем так, Борис просто спит. У нас много таких, спящих. Такие люди нашему ядру не нужны, пока они не способны пробудиться. А патриотизм — это не просто переживания, а способность к действию.

— Андрей, подожди, не горячись так, — вмешалась Варя, и я уже знал, что в любом случае она встанет на мою сторону, и с удовольствием наблюдал, как это происходит. — Может, ты и прав — такие люди не горят, они не могут быть в ядре, но могут быть на периферии, почему нет? Но терять их нельзя, они тоже важны. Надо не отталкивать, нужно всех использовать!

— Да, да! — Катя схватила Андрея за плечо, повисая на нём: — Вот видишь? Ви-идишь...

А он с улыбкой отмахивался:

— Окружили, демоны!

На выходе из кафешки нам нужно было попрощаться: Катя с Андреем снимали теперь жильё здесь рядом, в десяти минутах ходьбы, а нам с Варей предстояло ещё ехать в метро на нашу новую квартиру на востоке Москвы. Весело попрощались и разошлись, а Катя ещё иногда оборачивалась и махала нам рукой.

Но едва мы с Варей остались вдвоём, нам сразу стало неловко, словно бы мы должны были сейчас сказать друг другу что-то важное, о чём не могли заговорить в присутствии Кати и Андрея. Но, как нарочно, Варя вспомнила политическое, а я заторопился ответить ей заинтересованно, а потом уже до метро шли молча, и оба, кажется, чувствовали неестественность этого молчания. И всё-таки почти у самого подземного перехода Варя вдруг взяла меня под руку и прислонилась головой к моему плечу,

и опять вернулось то ощущение близости, которое мы потеряли несколько минут назад. “Какая же она молодец, — обрадовался я, — вот что значит девушка...” И сразу же стало спокойно — в этот тёплый июльский день моё счастье никак не могло быть иллюзией.

12

В середине мая, буквально на следующей неделе после того, как Андрей с Катей помирились, Катя случайно обмолвилась, что Варвара интересовалась мной, спрашивала у Андрея, чем я занимаюсь, где работаю и хорошо ли он меня знает. Я не придал этому большого значения, но уже через несколько дней она подошла к Андрею ещё раз и попросила пригласить меня на следующее собрание “ячейки”. Всё это было очень странно, но и Андрей, и даже Катя восприняли этот разговор очень серьёзно, будто бы и речи не могло быть о том, чтобы не прийти.

Я был удивлён и, конечно же, напридумывал себе много всего перед тем, как в следующую среду в третий раз отправиться на собрание в Коптево. Но ничего особенного там не произошло — весь вечер я просидел в последнем ряду, слушая длинные доклады и уже привычные споры, никто не обращал на меня внимания, и только в самом конце Варя подошла к нам с Катей и Андреем и спросила, правда ли, что я работаю на телевиденье. Я стал путано объяснять, что это не совсем телевиденье, а всего лишь частное новостное агентство. Она слушала внимательно, но холодно, а потом объяснила, что им нужен человек, который умеет снимать на камеру, потому что хорошо было бы выпускать небольшие ролики о каждом пикете, который проводит организация, а в “ячейке” нет никого, разбирающегося в видеосъёмке.

Она, видимо, ждала от меня быстрого ответа, может, даже резко отрицательного, но я всё молчал, и ей приходилось говорить ещё — о необходимости подобных пикетов и вообще о патриотическом воспитании общества, особенно молодых людей. Наконец, она остановилась и недовольно сжала губы:

— Я помню, ты тогда обвинил нас, что мы все здесь болтуны и никого не любим... Я считаю, ты неправ категорически. И не стала бы тебя просить, но нам кровь из носу нужен оператор, только поэтому. Если тебе интересует оплата, мы можем обсудить. Хотя в нашей организации это не принято.

На щеке её виднелись два прыщика, ещё сильнее проступавшие, когда она сердилась. Она говорила, как героиня плохого советского фильма, и мне стало стыдно за неё.

— Извини, — зачем-то сказал я, — хорошо, я согласен.

Она, кажется, настраивалась на горячий спор, а тут как-то потерялась, поспешно кивнула, потом ещё сильнее нахмурилась:

— Подумай. Если не хочешь, можешь не приходиться, — повернулась и зашагала вглубь зала.

Пикеты проводили в людных местах, обычно у входа в метро. Несколько ребят в уже знакомых мне с мартовского митинга красных куртках собирали несложную железную конструкцию, на которую вешали большие матерчатые листы с картинками, фотографиями и убористыми буквами текста. А когда стенды были уже готовы, участники начинали раздавать листовки прохожим, чтобы вступить с ними в осторожный, но настойчивый разговор.

Я обычно стоял несколько сбоку, иногда снимал то, что было нужно, а в остальное время прохаживался рядом, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и по несколько раз читая уже знакомые тексты на стендах. В основном, все они были посвящены зверствам бандеровцев в Великую Отечественную войну и современным украинским нацикам. Несколько раз за день приезжал Паша, неумело распорядился и сразу уезжал осматривать другие акции, проводившиеся параллельно в этом районе.

Варвара находилась на пикете постоянно и руководила процессом — она зачитывала вступительный текст для ролика и задавала вопросы на интервью, она вступала в особенно тяжело складывающиеся разговоры с прохожими и определяла время начала и окончания выставки. А когда однажды

к стендам подошёл мужчина в штатском и потребовал разрешение на пикет, именно она с плохо скрываемым возмущением, как злейшему врагу, протянула ему обёрнутую полиэтиленом бумагу и торжествующе смотрела, как тот разглядывает букву через неровные складки мятой обёртки.

Люди появлялись разные.

— Молодцы, ребята, просвещайте нас неразумных, — говорила полная женщина и ласково похлопывала по плечу одного из парней, стоявшего рядом.

— Ничего не надо, — проходили мимо усталые нахмуренные прохожие, вытягивая вперёд руку, желая заслониться от нас.

— Вы путинисты, что ли? Наши? — спрашивали молодые задиристые подростки, стайками перелетавшие от уличных рокеров, игравших неподалёку, до наших стендов и через мгновение готовящиеся лететь дальше. Варя кричала вслед что-то про молодую политическую силу, но они её не слушали.

Помню, на плече её рюкзака была повязана маленькая георгиевская ленточка, это выглядело так естественно и ненавязчиво, и мне нравилось изредка подглядывать на этот рюкзак. Сама же Варвара относилась ко мне равнодушно — изредка делала замечания, но всегда коротко, глядя куда-то в сторону. Честно говоря, я и не знал толком, зачем прихожу на эти пикеты, но неудобно было отказаться, раз уж тогда сказал, что согласен, — и решил для себя, пусть пройдёт хотя бы месяц, и потом уже подойду к ней, скажу: изменились обстоятельства, стало больше работы...

Что-то странное случилось между нами на третьем пикете.

Разместились в тот день на просторной площадке перед главным входом на ВДНХ. Дул сильный ветер, и хлипкую железную конструкцию шатало во все стороны. Прохожих было мало, ребята скучали, посильнее укутываясь в казавшиеся теперь тоненькими красные куртки. Андрей и Катя в этот раз тоже были с нами, но часто отходили подальше и долго стояли обнявшись.

Варя же с самого утра ходила вдоль стендов, напряжённая и расстроенная. Пикет срывался — из-за плохой погоды интересующихся было мало, листовки почти не брали, а она не могла с этим смириться и бесцельно гоняла заторможенных ребят. Ей хотелось, чтобы, несмотря на погоду, все находились в постоянной боевой готовности, будто вот-вот в одну секунду должен был успокоиться ветер и должно было выглянуть солнце, а там, за поворотом, ждали этой секунды сотни прохожих — и тут же вышли бы из своих укрытий и разом двинулись бы к выставке, и потому мы не имели права ни расслабляться, ни, тем более, куда-то отходить.

Мной она, казалось, была особенно недовольна: то я слишком долго настраивал камеру перед интервью, то брал не тот план, какой ей хотелось. Раньше я спокойно принимал её резкие замечания, как особенность характера, с которой ничего нельзя поделать. Но сегодня это были уже не просто замечания, а совершенно нелогичная и злобная несправедливость, словно бы это не я добровольно помогаю им, а напротив — они мне сделали одолжение, и теперь я виноват, что не оправдываю высокого доверия. Остальные беззаботно махали руками — ничего страшного, не обращай внимания, а высокий светловолосый парень по имени Вася Покровский, которого я запомнил ещё с первых приходов в “ячейку”, объяснил, что все уже привыкли к Варе и не обижаются и что я скоро тоже привыкну — ему-то легко было говорить: ни на кого из них она не срывалась так сильно, как на меня, видимо, чувствуя, что я в любом случае не стану ей отвечать.

К вечеру не распогодилось, наоборот — начался надоедливый дождь. Остальные ребята отошли под защиту огромных ворот Выставочного центра, и на всей пустынной площадке у плакатов осталась одна только Варя, последняя защитница промокших, перекошенных от ветра святынь. Да ещё я медленно ходил рядом, как бы желая показать, что не боюсь продрогнуть и не отлыниваю и что теперь нет, да и не может быть никаких претензий ко мне.

Но едва я ощутил особенное удовольствие от всей этой ситуации и своего положения в ней, как вдруг увидел Варвару, подскочившую ко мне:

— Ты хочешь испортить камеру? Почему ты под дождём?

От неожиданности я не смог ничего возразить. А она, разозлившись ещё сильнее, вдруг схватила меня за кашпошон и буквально потащила под навес.

Я подчинился, но и сам разозлился по-настоящему — и потом, стоя под бетонными воротами вместе с другими вымокшими людьми, думал, что после такого нельзя больше оставаться добреньким и что больше я уже никогда не пойду на эти их странные мероприятия. А когда вечером прощался со всеми, на Варвару даже не посмотрел, и не потому что пытался показать ей, что она виновата, а просто не хотелось даже касаться этого сгустка злости.

А вечером следующего дня, когда я уже немного успокоился, ко мне подошла Катя. Осторожно подседа рядом и вдруг спросила, не хочу ли я завтра пойти в кино вчетвером — они с Андреем, я и Варя. Это было самое нелепое, что я мог услышать, — с чего это нам было идти в кино, да ещё и таким странным составом. Оказалось, что после митинга Варвара говорила с ней обо мне, признавалась, что перегнула палку, что сожалеет, и спрашивала, как бы извиниться. А я слушал Катю и морщился от досады, будто в комнате летала пчела, а мне нужно было сидеть на месте вместо того, чтобы выгнать её в окно.

— Да ладно, это не обязательно. Я приду снимать следующие пикеты — скажи, чтобы она не волновалась, — махнул я рукой.

— Нет, ты не понимаешь, она и правда переживает! — вспыхнула Катя. — У неё очень трудный характер, с ней почти никто не общается, а если какие-то парни начинают, то сразу убегают. А она очень расстраивается, потому что получается, что она такая плохая...

— Да нет, она не плохая, — возразил я, — она же там у них всё организует.

— Ну вот, к ней и относятся как к организатору!

А я почти и не злился теперь на Варвару, но идти в кино вчетвером было просто неуместно. И не знаю, почему я согласился, может, из глупой привычки никому ни в чём не противоречить, или потому, что Катя очень настаивала, а когда человек настаивает, то любые его предложения кажутся не такими уж и глупыми.

Зачем-то я пришёл к кинотеатру заранее, просто не догадался, что лучше бы опоздать. Здание кинотеатра светило разноцветными и яркими огнями, как в праздник, хотя никакого праздника сегодня не было. Варвара пришла второй, мы встали рядом и долго и неуютно молчали, стараясь не глядеть друг на друга.

— Извини, я тогда накричала на тебя, была на нервах из-за пикета, — сказала она слишком громко. А я никак не ожидал, что она станет вот так вот прямо говорить мне об этом, и удивлённо повернулся в её сторону.

Она была нарядно одета, глаза подведены, губы тёмно-красные — я никогда раньше не видел её накрашенной, и это опять-таки выглядело странно. Я обрывисто кивнул. А она стояла, морщась, тоже ощущая неловкость. Я хотел было сказать ей: ничего страшного, не волнуйся, я понимаю, но почему-то ничего не сказал, просто не знал, как можно разговаривать с ней — кажется, простые человеческие слова не годились. И потому она, наверно, считала, что я всё ещё злюсь на неё. А когда, наконец, подошли Катя с Андреем, весёлые, о чём-то болтающие, и заговорили с ней, и пошли вверх по крупным мраморным ступеням ко входу в кинотеатр, я двинулся вслед за ними и подумал, что теперь-то будет легче.

Помню ещё, как стояли в очереди в кафетерии, чтобы купить воду и попкорн, а я сразу отдал Кате деньги и просто переминался рядом, разглядывая неестественно высокий потолок и серые разводы на нём. А когда вошли в зал, опять стало напряжённо, потому что сели, конечно же, самым худшим образом: сначала Андрей и Катя, потом Варвара, а потом только я, и получилось, что мы с ней рядом и у нас одно ведёрко попкорна на двоих. Уже подошло время, а свет всё никак не выключали. Она держала злосчастный попкорн у себя на коленях и не взяла ни разу, а затем неловко поставила ведёрко на подлокотник между нами и чересчур тонким, не своим голосом спросила:

— Будешь?

И чем дольше мы сидели так, брали попкорн по одному карамельному пёрышку, тем отчётливей ощущалась невозможная двусмысленность эдакого

двойного свидания, раньше ещё только угадывавшаяся, спрятанная за яко бы примирительным походом в кино. Фильм уже начался, а я всё нервно размышлял: если это идея Кати, то здесь всё ясно — всего лишь неловкое сводничество. Но если вдруг это не просто идея Кати, значит, когда Варвара звала меня снимать пикеты, она уже смотрела на меня по-особенному, но что тогда значила её вчерашняя злость...

Варвара сидела прямо, боясь повернуться или наклониться, даже когда нужно было поднести ко рту бутылку с водой. Краем глаза я рассматривал её силуэт в полутёмном зале, выточенный, как из лунного камня, ободок, державший волосы. Иногда на экране что-нибудь вспыхивало, и тогда её губы начинали блестеть. О чём она думала сейчас, я не знал, но чем ближе становилась развязка фильма, тем сильнее охватывала меня нервная дрожь.

Когда сеанс закончился, мы выходили из зала, всё ещё оглушённые громким звуком, как бы не в этом мире. Она шла рядом и держала один локоть чуть согнутым, и в этот момент мне почему-то так отчётливо показалось, что она хочет, чтобы я сейчас взял её за руку. Я мог бы поклясться в этом, хотя, конечно же, ни за что на свете не сделал бы такого движения: если бы я угадал неправильно, это был бы позор, но и потом — я и сам не хотел такого ненужного сближения. Но уже через секунду она обречённо вытянула руку вдоль тела и больше уже не сгибала локоть. И едва я заметил эту обречённость, мне вдруг стало жалко её — невыносимо было, что рядом со мной идёт человек, которому сейчас больно, и что эту боль причинил я. Впрочем, вот мы толкнули тяжёлые двери кинотеатра и вышли в майский вечер, и морок фильма рассеялся, и я вдруг удивился: ну, что же я так расстраиваюсь — даже если я нравлюсь этой странной девушке, что с того?

Они заговорили о газете для школьников, которую издавало движение, и о том, что Варя ответственна за её распространение в Северном округе.

— Рядом с моей работой есть школа, — зачем-то сказал я.

Варя молчала, зато Катя сильно оживилась:

— Да? Значит, ты можешь занести туда газеты.

— Могу, — с готовностью согласился я.

— Варя может тебе их дать, правда? — настаивала Катя.

Это звучало так намеренно, что и сама Варя смутилась и ответила неохотно:

— В школу попасть постороннему не так-то просто, хотя можно... Если хочешь, можем наладить этот канал. Но сейчас у меня нет с собой газет, они в общежитии. Ехать туда далеко...

Я кивнул. Катя молчала — я чувствовал, что она хотела бы сейчас сказать, что ничего, что ехать далеко, Володя может тебя проводить, но это было уже слишком, и она наверняка тоже это ощущала. Разговор остановился, как кабинка на колесе обозрения в наивысшей точке — ни в ту, ни в другую сторону. Варя шла, глядя себе под ноги.

И тогда я сказал, желая сделать ей приятное:

— Я не спешу. Можем заехать сейчас.

И тут уже и Катя заторопилась: да, да, конечно, съездите.

— Тебе точно удобно? — переспросила Варя.

— Да, всё хорошо, — ответил я и дотронулся своей рукой, не до ладони, конечно, но до рукава её куртки, и она удивлённо посмотрела на меня.

Почти не помню, как ехали в метро — кажется, Варвара села на освободившееся место, а я стоял перед ней, изредка поглядывая вниз. Руки её лежали на коленях, а ногти были почему-то не покрашенные, кое-где даже подгрызенные, как у школьника-подростка. И только через несколько станций она спрятала их, сжав ладони в кулаки. А когда шагали от метро, заговорили о Кате и Андрее, как давно я их знаю, и вроде бы с ней можно было общаться не только о политике. Я не следил за тем, куда мы идём, на какие улицы сворачиваем, в какие кварталы углубляемся. Неожиданно подошли к высотному кирпичному зданию с рядом широких балконов, пересечённых чёрными перьями лестниц по диагонали, а внутри неожиданно холодному, как каменная пещера. Остановились в небольшом фойе у поста охраны.

— Ты хочешь зайти? — спросила Варвара спокойно, а я, всё ещё настроенный на то, чтобы вести себя с ней мягко, кивнул.

Она взяла мой паспорт и надолго ушла оформлять пропуск. А я стоял, прислонясь к стене, и постепенно всё вокруг обретало для меня очертания, будто бы я опять выходил из зала в кинотеатре, только теперь отступающий из моего сознания фильм был не про то, как мне неловко с этой странной девушкой, а про то, чтобы не обидеть её.

Женщина лет тридцати в зелёных облегающих лосинах и в домашних тапочках стояла напротив меня, поочередно хлопая по полу картонными подошвами, видимо, поджидая кого-то; парень в чёрной кожаной куртке вошёл внутрь с сигаретой во рту; охранник внимательно и равнодушно взглянул на это; часы с запylённым циферблатом висели над турникетом и, кажется, показывали неправильное время. Что же я делаю сейчас здесь, в неизвестном мне месте, в каком-то общежитии на краю Москвы, почему мне так надо было прийти сюда, если я этого совсем не хотел? И с чего я вдруг решил, что она влюблена в меня, может, ей тоже показалась нелепой идея идти в кино вчетвером, а когда я поплёлся за ней сюда, подумала, что это я пытаюсь ухаживать и что именно я попросил Катю всё устроить, и теперь просто принимает мои ухаживания, потому что у неё никого нет, а быть одной для девушки не очень-то и приятно... Всё так запуталось, и как теперь было разобраться...

Потом поднимались в лифте, шли по длинному коридору, и встречавшиеся люди смотрели на нас равнодушно, словно не было ничего странного в том, что мы идём вместе.

— Подожди здесь, пожалуйста, — сказала Варвара строго, когда мы остановились у её двери. — У меня соседка растяпа. Поэтому наша комната мало похожа на жилище девушек... — быстро повернула ключ в замке и, протиснувшись в маленькую щель, захлопнула дверь передо мной.

То ли она преувеличивала, то ли так быстро прибралась, но, когда минут через пять я вошёл-таки внутрь, увидел чистую и уютную комнату. Кровати в углу — одна над другой, письменный стол, зеркало, в котором мелькнуло моё растрёпанное лицо. На туалетном столике стояла большая икона Богородицы, а перед ней в стопочках, но чуть вразнобой — религиозные книги, я успел заметить несколько названий на обложках и вспомнил, что Катя говорила, что Варвара — верующая. И это тоже придавало комнате теплоты и домашности, как в деревенском доме у какой-нибудь набожной женщины. И только знакомые красные корешки кургузовских книг, какие стояли в комнате у Андрея и Кати, выдавали, что здесь живёт активист политического движения, да и то можно было подумать, что это обыкновенные институтские учебники.

Я шагнул вперёд и увидел над письменным столом рисунок неровными карандашными линиями: высокий человек несёт чёрное сердце в руке, а за его спиной — люди, все сгорбленные и озирающиеся по сторонам, и вот в этом-то рисунке уже было что-то действительно чужое, кургузовское.

— Проходи, располагайся, — сказала Варвара, всё ещё напряжённо оглядываясь по сторонам — переложила с одного места на другое кухонное полотенце, убрала со спинки стула тонкое ажурное платье, поставила чайник. Была ли она влюблена в меня или же просто стеснялись малознакомого человека в гостях, но движения её казались взволнованными. Она ещё искала вокруг непримечное, лишнее и вдруг заметила, как я осторожно наступаю на пол влажными носками, чуть подгибая ступни.

— Ты промок? Простудись. Снимай носки, я дам тебе свои.

Я махнул рукой и пытался было возражать, но она не обращала внимания на мои слова, словно, попав сюда, я уже стал частью её мира, в котором она могла распоряжаться всем. Нашла в шкафу круглый махровый комочек, настойчиво протянула его мне, с каждым движением обретая уверенность и силу. Потом заставила вернуться в толстый шерстяной плед и вышить горячего чаю с вареньем. В этом не было слащавой мамочкиной заботы, скорее, просто привычка в определённой ситуации поступать определённым образом и искренняя уверенность, что иначе просто недопустимо.

А я сидел, отхлёбывая чай из кружки, с удивлением наблюдая за ней, и мне самому приятно было ощутить себя частицей этого упорядоченного мира: я мог расслабиться, принять свою роль подчинённого и её роль хозяйки — и, кажется, нам обоим было проще играть эти роли, чем придумывать новые.

Она показала мне газету, стала рассказывать о каждой статье, напечатанной в последнем номере. Слова ничего не весили, лишь смазывали шершавую пустоту между двумя чужими людьми, но я заинтересованно кивал и даже иногда спрашивал о чём-то. А когда собрался уходить, она опять взволнованно вскочила и, как зверь, прошлась по комнате от стены к стене.

— Я тебя провожу. Газеты не тяжёлые, но неудобно нести две пачки, — произнесла надтреснутым голосом, и я понял, о чём она думает сейчас и зачем хочет спуститься вместе со мной.

У лифта стояла та же женщина в облегающих зелёных лосинах и, отвернувшись к стене, неловко вздрагивала, поднимая и опуская острые плечи. Мы прошли мимо неё, шагнули через пост охраны и остановились в предбаннике между внутренними и внешними дверями, отделяющем фойе общежития от улицы. Это было именно то, что она хотела: прямо перед расставанием, наедине, но всё равно как бы невзначай — я обернулся, и мы поцеловались. Она прижалась ко мне так сильно и жадно, как если бы это было обычно для неё, и я удивился, потому что у такой девушки, интересующейся политикой, вроде бы вообще не должно быть парней.

Я возвращался домой, а внутри меня тяжелел наглухо запечатанный сосуд, в котором бурлило, но я ещё не мог понять, сладкий ли это сок или жгучая кислота. Всё было так странно и стремительно, так непохоже на то, что было у меня раньше, с Катей или с другими девушками, — не подготовлено мечтательными восторгами, не пронизано длительным обдумыванием и самокопанием. И вроде бы это должна была быть радостная стремительность, эдакая вспышка настоящего чувства, но я-то знал, что это не так и что эта внезапность — скорее, сумбурность и человеческое непонимание. Мне казалось, когда мы встретимся в следующий раз, то будем прятать друг от друга глаза, и это будущее смущение мучило меня.

Машинально я достал телефон и быстро набрал её номер — на расстоянии проще было говорить важные слова.

— Привет, — сказал осторожно.

— Привет, — удивлённо ответила она.

— Знаешь, я так и не понял до конца, что произошло.

— Что ты, маленький что ли, — засмеялась она, и я подумал, что ещё час назад она ни за что не позволила бы себе так пошутить, словно теперь, после нашего поцелуя, обрела силу не только над моими носками, но и вообще надо мной.

Но потом добавила серьёзно:

— Я тоже не поняла, если честно...

— Это хорошо, — сказал я и по лёгкому звуку в трубке догадался, что она опять улыбнулась.

— Ты придёшь завтра на собрание?

— Да, конечно.

Помолчали.

— Я рада, — вдруг сказала Варя, и я почувствовал, что тоже рад чему-то.

А когда вернулся к себе домой, то не стал включать в коридоре свет и принялся медленно разуваться, боясь неосторожным движением повредить зыбкое равновесие в окружающем мире. Так же мягко, шелестя лапами по скрипучему паркету, появился из темноты Маркиз и по-дружески потёрся боком о мои ноги. В комнате Кати и Андрея слышны были голоса за закрытой дверью. Я постарался проскользнуть к себе, чтобы они не услышали, я просто не знал, что говорить Кате, если бы она стала меня сейчас спрашивать, а она обязательно стала бы. Одиноко мерцала красная точка на ноутбуке. Я включил настольную лампу и удивился знакомым предметам вокруг. А просыпаясь на следующий день, расслабленно и глупо улыбался

в потолок, даже не из-за Вари самой, а просто от ощущения, что впереди ждёт что-то новое и непохожее на мою обычную жизнь...

На общее собрание “ячейки” я пришёл за полчаса до начала и стоял на лестнице у закрытой двери в зал. Потом снизу раздался звук шагов, мы встретились на узком пролёте и сразу поцеловались. Варвара открыла дверь. Мы вошли в гулкий пустой зал, как в целую жизнь, и растерянно ходили между рядами стульев. А потом сели вместе, она что-то рассказывала, а я гладил её по спине.

В тот день мы ни слова не говорили о нас, не называли друг друга ласковыми именами — от двора в Коптево до метро шли с остальными ребятами; в метро молчали, стоя у закрытых дверей вагона, и только иногда целовались; по пути к её общежитию говорили о чём-то незначительном. “Соседки не будут до позднего вечера, поднимешься?” — спросила Варвара в фойе у поста охраны. Она ушла делать пропуск, но почти сразу же вернулась. Мы поднялись на лифте, вошли в комнату, она закрыла дверь, потянулась ко мне, а потом быстро разделась — и её внезапная нагота в свете дневной лампы была почему-то не совсем приятна мне...

Потом мы лежали в обнимку, но лицами далеко друг от друга. Варвара в запоздалом томлении ещё водила головой по подушке. На стене висела икона, которая привлекла моё внимание в прошлый раз, и было неловко, что женщина, изображённая на ней, видела всё происходившее между нами. Я посмотрел на Варвару и удивился: ведь она же, кажется, верующая — эта икона, стопки религиозных книг, да и Катя говорила об этом, — так почему же она так легко отдалась мне? И странно было осознавать, что случившееся не сделало нас ближе, а наоборот, всё усложнило: я по-прежнему ничего не знал об этой девушке, и то, что я сжимал в руках её тело, по большому счёту не прибавляло к моему знанию ничего — будто оно было и не её вовсе, а просто безличное женское тело с лицом Варвары.

Я боялся, что сейчас она буднично заговорит со мной, и тогда все эти сложности и непонимания затвердеют, и придётся тащить их дальше, как тяжёлый груз. А ещё боялся того, что если она заговорит о “ячейке”, то я вроде как не имею теперь права не соглашаться, раз уж пришёл сюда и раз мне дали это тело. Но Варвара ничего не сказала, только припала к моей груди, и я почувствовал её мягкую щеку. Кажется, она совершенно не понимала, что случившееся между нами было неестественно и не вовремя...

Может, ей просто нужен любовник, так, на некоторое время, предположил я вдруг, а я уже размышлял о высокой любви. И от этой мысли мгновенно стало неприятно и захотелось уйти. Но с другой стороны, что она скажет — получил своё и бежит. Мне было стыдно, словно меня вынудили совершить подлость, и теперь вместо того, чтобы злиться на себя, я злился на того, кто вынудил, и понимал, что это неправильно, но оттого ещё сильнее злился... Но не могу же я из-за стыда с ней встречаться, это будет ещё большим обманом.

— Мне надо идти, — сказал я как можно мягче.

— Да, да, — неожиданно оживилась Варвара, — а то вдруг соседка придёт, не хочу, чтобы пошли слетни.

Оттого, что это она меня торопит, мне было гораздо легче уходить. Оделись, молча спустились на первый этаж, коротко поцеловались на прощание. Я шагнул на порог общежития и остановился, пытаюсь отдышаться. Неподальку курил охранник, плотный человек лет тридцати с угреватым лицом, иногда с силой сплёвывая на испещрённый точками асфальт. И тогда я вдруг подумал, что ей мог бы понравиться не я, а, например, вот этот человек, а может, и нравился или даже не просто нравился, откуда же я знаю... Я стоял, напряжённо разглядывая громоздкую фигуру и неприятное лицо, а тот повернулся и посмотрел на меня, кажется, с усмешкой, как если бы знал мои мысли. Я поспешно отвёл взгляд и двинулся вперёд, к метро, но в душе вырастали новые и новые сомнения, и хотелось разом выскрести их, как угри с лица. Можно было бы опять позвонить Варваре, как вчера, всё выяснить, успокоиться, но повторяться не хотелось, да и зачем мне было звонить, что бы я сказал ей? Спросил бы, любит ли она меня или любила ли

она кого-то ещё до меня, но ведь я и так уже знал ответ на этот вопрос, да и в любом случае это выглядело бы глупо...

Не позвонил я и на следующий день, проверяя, что же теперь она будет делать, и чувствовал, что виноват, но не мог заставить себя заговорить с ней как ни в чём не бывало. А через два дня Варвара позвонила сама. “У меня до утра свободна комната, я договорилась с комендантом, ты можешь остаться на ночь”, — слишком весело сообщила она, и я догадался, что нет, она не так рада, как хочет показать. Сказал, что приду, но на душе было тошно.

И когда шёл по знакомой дороге до общежития, в третий раз за последние несколько дней, ощущая только усталость от собственных назойливых мыслей и желание всё забыть и начать сначала. Но потом подошёл к порогу и вспомнил, как тем вечером стоял здесь охранник, и опять разозлился. Ну и пусть, решил я с каким-то мстительным удовольствием, тогда для меня это тоже просто так — никаких лишних мыслей и чувств.

Позвонил, сказал, что уже приехал, стою внизу, как бы даже с некоторым недовольством, что мне приходится ждать её. А когда Варвара вышла, небрежно притянул её к себе и поцеловал, как имеющий право. Она поддалась, но потом рассеянно кивнула и первой пошла к лифту, будто не была рада моему приходу или я обидел её своим грубым обниманием.

В комнате тоже молчали. Варвара подошла к столу, стояла спиной ко мне, стуча кулаком по краю. Я хотел просто обнять и начать целовать её, но это было бы уж слишком, хотелось всё-таки понять, на что же она обиделась, что именно я сделал не так.

— Что-то случилось? — спросил я участливо, но всё равно вышло недовольно, с вызовом.

Но она, кажется, не заметила этого, повернулась и мелко и торопливо закивала.

— Мне только что позвонили из ростовской “ячейки”, там, в Донецке, беда... Никто точно не может объяснить конкретно, что произошло, но всё очень плохо.

Я вопросительно поднял глаза, а она схватила со стола альбомный листок бумаги и начала рисовать размашистые линии:

— Смотри, это примерный план аэропорта, я посмотрела. Укры были здесь, наши вошли... Они не хотели стрелять. Они пришли без тяжёлого вооружения, конечно, это непростительная халатность, за это надо под трибунал, но я их понимаю... Это такая честность, которая не может предвидеть подлости! Но теперь мы уже не будем такими наивными, теперь всё, хватит прощать. Это враг, к ним теперь — только как к врагу! Теперь с ними разговор будет только в Киеве...

Я слушал, и сначала мне было досадно, словно у меня пытались вызвать участие запрещёнными приёмами, хотелось перебить её и сказать, что я и так знаю, что там война, и тоже переживаю. Но потом сам смутился этим неуместным недовольством и принялся вслушиваться в её слова. За ними было не успеть, и я не разобрался во всех деталях — просто понял, что произошло страшное, какое-то большое поражение, о котором пока ещё почти никому не известно, но которое может перевернуть течение этой войны.

— Я тебе сейчас покажу, — Варвара стала торопливо дергать мышкой, стараясь найти в своём ноутбуке нечто важное. — Вот!

Включила видео, и я увидел краешек большой площади и стоящие на обочине дороги большие машины, полные людьми в военной форме, — люди машут руками, а народ на площади воодушевлённо приветствует их. Видео плохо грузилось, часто прерывалось и, наконец, замерло совсем, превратившись в размытый серый кружок.

— Снимали всего пару дней назад. Это добровольцы из России, у всех — боевой опыт, — стала объяснять она. — Их можно было использовать для сложных операций, а их бросили туда, как пушечное мясо. Украинцы просто разбомбили собственный аэропорт. Все эти люди погибли, представляешь??

Видео опять запустилось и теперь уже пошло без остановок. Лиц военных нельзя было различить, просто много людей в кузовах грузовиков. А потом

ролик закончился, а мы всё сидели, не решаясь закрыть вкладку, как отойти от человека, который умер, но вдруг ещё вздохнёт и оживёт.

— Давай не сегодня, ладно? — сказала она виновато, имея в виду близость.

И тогда меня вдруг как пронзило — она так просила, словно сама не имела права решать, будет ли между нами сейчас что-нибудь или нет. А я и представить себе не мог, что можно вот так вот просто свалиться в кровать, будто ничего не случилось, ведь это было важно и для меня, но даже если и нет, в любом случае — это было важно для неё, и как я мог просто наплевать на это...

Я сказал — конечно, конечно, а Варвара посмотрела с благодарностью, но я заметил, что она была готова и к другому. Какие же у неё до этого были отношения, неужели находились какие-то люди, которым она была обязана позволять близость в любое время и в любой ситуации... И это поразило меня сильнее, чем всё остальное. Я вглядывался в её лицо и видел несчастную задавленную девушку, которую хотелось изо всех сил обнять, но я не мог даже коснуться её, вдруг бы она решила, что я всё-таки начинаю приставать. И безумно стыдно было за то, что ещё полчаса назад я ничем не отличался от этих не известных и отвратительных мне людей.

— Давай тогда ляжем спать, я очень устала, — попросила она, и тут же встрепенулась: — Ты как?

Потом мы ещё некоторое время ходили по комнате, как лунатики, — по очереди умывались, чистили зубы, ждали друг друга. Наконец, опустились на кровать, и прежде, чем заснуть, Варя сама обняла меня судорожным движением, как обнимают плачущие дети.

А я ещё долго лежал где-то между явью и сном, вдыхая запах её волос, изредка осторожно проводя кончиком носа по чёрным прядям, и думал, какой же была её жизнь до меня, а ещё о погибших людях с видео. И странно и горько было понимать — но то, что у Варвары раньше кто-то был, значило для меня сейчас гораздо больше войны и смерти тех людей. Или так и должно быть, сомневался я, но ведь не должно... И от этих мыслей ещё сильнее хотелось, чтобы у нас с ней всё сложилось, чтобы мы нашли друг в друге спасение от любого зла и несправедливости, последнее пристанище в разрушающемся мире...

Мягко пролился в окно рассвет.

Тонкая косая граница отступающей полутени медленно двигалась в сторону двери — то проходила по зеркалу, то по рисунку с Данко и чёрным сердцем, то изогнулась, встретившись с книжной полкой.

Мы лежали, изредка поворачиваясь и неосознанно касаясь друг друга. Ближе к утру я в очередной раз пробудился оттого, что рука моя под Варинной спиной онемела, но не двигался, с рассеянным любопытством прислушиваясь к бегающим от локтя к плечу мурашкам. Кончиками негнущихся пальцев я мог осторожно касаться её груди через футболку, и хоть уже видел Варю голой всего два дня назад, но это крошечное касание было в десять раз пронзительнее и важнее для меня.

То ли я громко выдохнул, то ли неловко шевельнулся, но она вздрогнула и неожиданно откликнулась на моё прикосновение, и мы долго целовались, но потом пугливо отстранились друг от друга, боясь нарушить вечернюю договорённость о том, что близости между нами в эту ночь не будет.

— Встали ни свет, ни заря, и за работу, — усмехнулась Варя, и мне даже понравилось, что это прозвучало не так возвышенно, как вроде бы должна была звучать первая фраза в такой момент.

Внезапно резко прозвучал будильник на её мобильном телефоне. Я вздрогнул, не меняя положения, дотянулся до него и поспешно нажал на кнопку отключения, чтобы тот не смел нарушать хрупкую нежность этого утра. Но она уже вскочила с кровати, не одеваясь, скользнула к столу и привычным движением включила чайник.

— Просыпайся, соня, — воскликнула она бодро. — Я в душ.

Я поднялся, медленно, лениво, ещё в томительном полусне, машинально раздумывая о том, всегда ли она так встаёт или, может, просто боится, что вернётся соседка и пойдут сплетни, как она сказала мне два дня назад...

— Расскажи мне про себя, — просил я её в один из следующих дней.

— Да что про меня рассказывать, обычная жизнь...

Но я настаивал, мне хотелось перестать воспринимать её странной политической активисткой, или женщиной, принадлежавшей другим мужчинам, или же источником моего вдохновенного восторга — и в том, и в другом, и в третьем было лишь моё искажённое восприятие, а хотелось узнать, какой она была на самом деле. Или хотя бы прикоснуться к этому знанию, как я касался её тела. Варя заговорила сначала неохотно, стыдясь своей откровенности, а потом всё увлечённее. Она многое рассказала мне о себе в те первые дни...

Она росла младшей дочерью в большой семье, где всё время не хватало внимания и заботы, и, не сознавая этого, страдала от жгучей потребности в родительской любви. Мать её торговала на городском рынке и тянула семью на себе, приходила домой поздно, принималась готовить ужин, каждый раз с надрывом ругая тяжёлые времена и постылую жизнь, которую приходится терпеть ради детей. Отец — добрый, но слабый и наивный человек, которого Варя очень любила, — по инерции с советских времён работал начальником смены на машиностроительном заводе, где платили мало и с задержками. По вечерам, отдыхая от работы, смотрел телевизор с раздражённым ожиданием, что его сейчас потревожат и заставят что-нибудь делать. Иногда ещё он возился со старшими братьями, помогая им с уроками и привычно ворча на их невнимательность. У Варвары же не было проблем в школе, так что с ней вроде как и не надо было заниматься — она старалась учиться ещё лучше, чтобы обрадовать родителей, чтобы они похвалили её, но оттого получала ещё меньше их времени. Мать часто упрекала отца за мечтательность и неумение разбираться в жизни; Варе же, наоборот, нравилось, когда отец придумывал что-нибудь необычное: игру или шутки. Ей запомнилось, как они вдвоём с отцом ездили на огромное бескрайнее поле, за которым стеной стоял лес, а рядом был пруд, где вроде бы нельзя, а вроде бы и можно было купаться, и папа несколько раз спрашивал, нравится ли ей здесь. Она отвечала — конечно, нравится, а он ещё долго ходил по траве, лихорадочно хлопая себя ладонями по ногам и повторяя: “Что я, семью не прокормлю, что ли...” Но Варя уже тогда понимала, что ничего не зависит от них двоих и ничего не решится, если мать будет против покупки. “Ты ещё не сказал маме?” — спрашивала она потом у него каждый день, а отец отговаривался тем, что занят или ещё не время. А через несколько недель в ответ на её очередной вопрос виновато поморщился: “Да нет, дочка, ерунда всё это, не получится...” И увидев, что она расстроилась, растеряно добавил: “Не сердись на папку...”

Она не корила отца, она привыкла жалеть его и любить. И только иногда, ближе к окончанию школы, непонятное раздражение охватывало её, и на минуту она вдруг начинала смотреть на отца глазами матери, а потом чувствовала себя виноватой перед ним.

— Ты такой же добрый, как он, — сказала Варя, проводя ладонью по моей щеке. — Но и решительный... Ты тогда на собрании так нам сказал, я неделю не могла успокоиться!

Я подумал, что это произошло случайно, но побоялся её разочаровывать.

Мать она тоже очень любила, но это была, скорее, задавленная любовь-страх. Я видел, как Варя разговаривает с ней по телефону — первые слова произносит с жадной нежностью, но голос всё время дрожит, а рука нервно сжимает телефон, словно бы она боится неожиданного удара.

— Твой Володя молодец, он работает, а ты своей ерундой занимаешься, — пересказывала Варя мне потом слова матери, и было странно, что та относится ко мне с такой симпатией, хотя почти ничего обо мне не знает, а к дочери и её деятельности — с таким пренебрежением.

— Это не потому что она либералка, — грустно объясняла Варя. — Просто, чем бы я ни увлеклась, это всегда для неё было неважно и неинтересно. Она называла нас с отцом мечтателями, говорила, что мы не знаем настоящей жизни.

— Вот станешь депутатом, тогда она поймёт, — подсказывал я вариант, который мог бы и удовлетворить приземлённую женщину, твёрдо стоявшую на ногах, и одновременно вдохновить Варю, дать ей ощущение собственной силы и значимости.

— Нет, я никогда не стану депутатом, — возражала она убеждённо. — Это Паша может, а я — нет...

Родители Варвары считали себя людьми неверующими, и в церковь она попала первый раз в восьмом классе. Просто шла мимо, увидела ребят у здания воскресной школы, заинтересовалась и записалась в группу. В обычной школе всё было понятно и привычно, а здесь что-то новое. Единственное, что её сильно возмущало, что ученики были расслабленные и безответственные: они могли, например, не прочитать евангельский отрывок, которые задавали на дом, или не помнить того, что проходили в прошлый раз. А преподавательница, бледная сухая женщина с тоненьким причитающим голосом, никогда никого не ругала и никогда не выделяла Варю, которая всегда была готова к уроку. Ей было обидно, но она всё равно продолжала посещать занятия. А потом стала бывать и на службах — так получилось само собой, без каких-то сомнений: раз уж она училась в воскресной школе, то и в церковь ходить тоже было нужно.

Существование Бога, который всё видит и знает, примиряло её с настоящей жизнью. Она видела, что мир вокруг ужасно несправедлив: её родители работали целыми днями, но почти ничего не могли купить; или, например, она училась лучше всех в классе и при этом каждому готова была помочь, и помогала, но её почему-то не особенно любили ни учителя, ни одноклассники. И мысль о том, что где-то есть Бог, и он запоминает всё, что происходит, а потом, после смерти, каждому воздаст по заслугам, придавала Варваре сил и уверенности. Хотя, конечно же, такое устройство мира казалось ей чересчур сложным: жизнь была бы яснее и понятнее, если бы расплата не откладывалась на большой срок, когда человек уже и забудет, что и почему делал и кому какое причинил зло.

— Я по ночам плакала и просила Бога, чтобы он исправил все несправедливости, — рассказывала она мне, отчего-то сильно ожесточаясь, — я не могла понять, почему всё так неправильно устроено? Почему люди безнаказанно делают зло и даже не понимают, что это зло? Я бы хотела — вот, ударил человек кого-нибудь, и у него сразу рука отсохла, хотя бы на несколько дней. Сказал что-нибудь плохое — язык отнялся. Вот тогда бы он подумал, прежде чем в следующий раз говорить!

— Все были бы калеками, — вставил я беззаботно, но она вдруг посмотрела на меня так, будто рассказывала не о давнем детском желании, а о настоящих своих мыслях.

— Мне кажется, ты чересчур строго судишь людей. Или наоборот, недостаточно строго, — выговорила она резко, но через секунду покачала головой и вздохнула с сожалением. — Но сейчас я так не думаю, конечно, всё гораздо сложнее в жизни...

В воскресной школе Варя проучилась год и ещё почти два после этого каждую неделю посещала службы, пока не пришла пора усиленно готовиться к поступлению в институт; но, перестав ходить в церковь, она не чувствовала вины — это было рационально, а значит, правильно, а значит, вполне одобряемо Богом. Подготовка к экзаменам, сами экзамены и приезд в Москву на какое-то время целиком заполнили её жизнь. Но достигнув желанной цели и поступив в московский вуз, Варя вдруг обнаружила себя совсем одинокой в столице — раньше она даже не могла представить, насколько же ей будет здесь тяжело и тоскливо.

Её влекло в родной дом, в его воображаемое тепло, но когда она звонила матери, из трубки веяло лишь ледяным равнодушием — там, в городе, который внезапно перестал принадлежать ей, было много забот: у старших братьев, которые успели к тому времени жениться и развестись, росли дети, и их воспитание и конфликты с непутёвыми невестками занимали родителей гораздо сильнее, чем дела младшей дочери, у которой, как они считали, всё складывается успешно. И оттого Варя опять казалось, что тех, проблемных,

они любят больше, чем её. Сами братья были поглощены своими делами, да и до сих пор относились к ней несерьёзно, как к маленькой. И даже учёба, которую Варвара всегда считала своей сильной стороной, вдруг оказалась гораздо труднее, чем в школе. Она училась изо всех сил, но это позволяло ей лишь держаться в середняках.

В это время неожиданно для себя Варя принялась опять ходить в церковь. Вокруг неё всё сменилось: вместо уютной комнаты — четыре соседки и невозможность побыть одной; вместо маминой еды — скудные и дорогие обеды в столовой; вместо уверенности в своих силах — вечная нервозность на занятиях, а в маленькой московской церкви была та же атмосфера и распорядок утренних и вечерних служб, к которым Варя привыкла у себя в городе. И в то же время ей совсем не хотелось изучать новое, читать религиозные книги, глубже погружаться в церковную жизнь — словно, однажды узнав в школе, что земля круглая, она уже не могла подвергать сомнению такую очевидность, но и углублять это знание не считала нужным, ведь оно было таким ясным.

Я удивлялся, насколько же спокойно она говорила о вере. У меня с этим всегда был связан детский восторг, воспоминания о мечтательных разговорах с Катей, о чтении религиозных книг. У Вари же не было никакой экзальтации: ровное твёрдое убеждение и, по-видимому ответственное исполнение всего необходимого без лишних терзаний и тревог. По крайней мере, так мне казалось до того момента, когда однажды в ответ на мой осторожный вопрос она неожиданно сбилась и стала, морщась, подбирать непослушные слова.

— Я тебе как-нибудь в другой раз расскажу про одного человека, который сделал мне много зла, — произнесла, наконец, она. — Из-за него я столько грешила, что теперь у меня самой должно всё отсохнуть до конца жизни. И даже если вот сейчас не отсыхает, то потом обязательно припомнится... Я долго искала ему замену, но они все оказывались похожими на него. А ты совсем другой.

Она больше не сказала мне ничего ни об этом человеке, ни о грехах, которые должны будут ей припомниться, ни о мужчинах, в которых она искала того, первого, а я отчаянно ожидал этих рассказов и в то же время боялся их. Мне было обидно, что она оставляет часть своей памяти закрытой, хотя только что так подробно рассказывала обо всём остальном. Но едва я начинал представлять, что вот сейчас она заговорит, и в напряжённой тишине зазвучат чьи-то имена, и эти воображаемые мужчины станут реальностью, как мне становилось невероятно тоскливо, и я прекращал всякие расспросы.

А однажды, глядя на рисунок с Данко, спросил:

— А что за картина?

— Это мне Паша подарил, — легко ответила она и улыбнулась. — Пытался меня мотивировать...

— Паша? — и удивился новой болезненной догадке. — А у вас с ним тоже?

— С Пашей-то? Нет, конечно, — откликнулась Варя и рассмеялась так, как если бы я сказал сейчас невероятную глупость, и от этого искреннего настоящего смеха на душе стало свободнее. — Паша просто хороший друг.

— Вроде бы у вас с ним много общих интересов, — уточнил я.

— Да, я очень благодарна Паше, он настоящий лидер, он многое мне объяснил. Вернее, объяснил Сергей Владленович, но я лучше всё поняла, слушая именно Пашу, а главное — глядя на него. Он же на самом деле не такой уж и твёрдый человек, он довольно слабый, романтичный парень. Но стал работать над собой, делать из себя личность историческую...

— Паша же только говорит красиво. Я ему не верю, — решил я копнуть ещё глубже, но она вдруг вспыхнула с неожиданным ожесточением:

— А кому ты веришь?

— Тебе.

— Ерунда, — смутилась и поморщилась она, но сразу же опять стала мягкой:

— Ты не прав. Паша искренний человек, не осуждай его. Он единственный из нас, кто так сильно и по-настоящему верит. Его концепция —

это же практически борьба с грехами. Он горит сильнее, чем многие христиане, — и я удивлённо взглянул на неё. — Да и вообще, — продолжала, на секунду задумавшись, — я знаю, что Паша *childfree*, но не вульгарный, как сейчас принято. Ему просто кажется, в нынешнее военное время быть патриотом важнее, чем воспитывать детей. Мне это не близко, но всё равно достойно уважения, — она опять остановилась, а потом заговорила, постепенно увлекаясь, от Паши переходя к делам “ячейки”, потом к политике, а я слушал её, не прерывая вопросами, радуясь, что по счастливой случайности мы опять свернули с большой темы о прошлых мужчинах...

Общественная работа стала для Варвары единственным утешением после болезненного расставания с тем человеком, о котором я так ничего и не узнал. Организация Кургузова привлекала её тем же, чем когда-то в школе привлекла и церковь, — ответственностью и стремлением к справедливости. Но здесь речь шла уже не о личной справедливости (которой не жалко было и пожертвовать), а о судьбе страны, и ощущением важности и святости этой тяжёлой задачи можно было раздавить собственное горе. Более того, теперь, после пережитого, отношение её и к общественной работе, и к церкви стало сложнее — появилось чувство жгучей вины за свою несправедливую страсть, и эту вину ей отчаянно хотелось искупить добрыми полезными делами. Но чем больше она делала, тем яснее и мучительнее отливались в ней это чувство вины, так что никакие достижения не могли удовлетворить его до конца, требуя достижений ещё больших. Сначала Варя просто ходила на заседания только что сформировавшейся “ячейки” Северного округа, потом взяла на себя обязанность оповещать участников о теме предстоящей встречи, наконец, стала определять темы и назначать участников — и вскоре все считали её главной в “ячейке”. Хотя когда появился деятельный Паша, она спокойно уступила ему лидерство: Варю совершенно не интересовало, кто из них будет руководить.

Идеи “ячейки” вошли в неё так быстро, как сыворотка в кровь, и вскоре не отличить было, что — Варино личное, совпадающее с её характером и желаниями, а что — чужое. Хотя если, как она сказала про Папу, каждому нужно сделать из себя личность историческую, то, наверно, и правильно было так — срастись с чужим, но полезным для общества, надеть чью-то хорошую маску и не думать о собственном лице. Но как бы она ни пыталась стать последовательным исполнителем исторической необходимости, от пережитой страсти к мужчине и убеждения её приобретали ту же страстность и бескомпромисность израненной женщины — и это чувствовалось даже сейчас. Едва я однажды осторожно начал возражать, что коммунизм ведь так и не смогли построить, Советский Союз распался, значит, там что-то было не так, Варя вспыхнула и инстинктивно схватила меня за руку:

— Да, да, ты, прав! Но это вина тех, кто был коммунистами в то время, они же давали клятву и предали страну! Дружно подняли ручки, когда враги нанесли удар... А теперь мы должны ответить за это!

— Ты имеешь в виду отомстить? — переспросил я.

— Нет, не только. Главное — ответить! Чтобы враги знали: мы не такие слабые, как раньше. Мы можем за себя постоять. И мы не забыли наше поражение.

Она и не родилась ещё, когда распался Советский Союз, откуда же в ней такое острое восприятие этого события, будто оно имело отношение лично к ней, удивлялся я. И почему же её так тянет к советскому, если она не могла помнить, как было там, а значит, сравнить с тем, как сейчас здесь.

— Почему? — удивлялась она моему вопросу. — Это же было замечательное время! Случались ошибки, трагедии, но самое главное — все стремились к добру и справедливости. Сейчас у нас возрождается интерес к тому времени, и это хорошо... Я почти год вела в Facebook’е группу советских плакатов, и видела, сколько там молодёжи. Ты не заходил туда? Теперь её ведёт Катя.

— Катя? Нет, не заходил.

— Она делает это гораздо лучше меня и на самом деле вкладывает душу.

— А ты разве не вкладывала? — спросил с едва заметной улыбкой.

— У меня очень мало души, — грустно ответила Варя, и я мгновенно пожалел о своём неуместном вопросе.

Она ещё много всего рассказала мне — и о своих убеждениях, и о том, как болезненно воспринимает происходящее сейчас на Украине и в России. Майдан и Крымские события оказали на неё сильное воздействие: многие в “ячейке” были воодушевлены происходящим, но ей было очень тревожно. Потом ситуация становилась всё хуже и хуже, а после случившегося второго мая в Одессе она впала в изматывающее томительное ожидание. И хотя Сергей Владиленич и говорил, что он против ввода войск, что нужно помогать оставшемуся Донбассу силами гражданского общества, а не власти, она до последнего надеялась, что на Девятое мая будет какое-то грандиозное событие — или придут, наконец, наши, или просто вышлестутся на улицы украинских городов толпы людей и единым порывом сметут ненавистную фашистскую власть.

— А когда увидела, что нацгвардия творила в тот день в Мариуполе, как убивали мирных жителей, я не знаю, что было со мной... я всю ночь плакала, потом просыпалась и опять плакала.

— И в этот момент появился ты, — произнесла она резко, сжимая губы от волнения. — Сначала я считала, что ты враг, и очень злилась, думала, ты приходил к нам, чтобы что-то выведать. Потом решила, что ты просто слабый человек, и тоже злилась. Прости меня, — и в голосе было столько горечи, вроде как после этого честного признания я должен был возненавидеть её навсегда.

— Ничего, — растерянно выговорил я.

— Если честно, я никогда бы тебя не выбрала, ты был совсем не такой, какого я хотела. И я не знаю, что со мной случилось. Но после того пикета на ВДНХ я проснулась утром и почувствовала... как будто тебе дарят подарок на Новый год, но не тот, какой ты хотела, и ты сначала расстраиваешься. Но потом понимаешь, что для тебя этот подарок гораздо лучше того.

— Значит, я твой подарок? — усмехнулся я, ласково обнимая её, ощущая собственную силу и необходимость защищать её теперь от любой тревожной мысли или чувства.

Варя была странной — кажется, её никто никогда не любил искренне: она привыкла быть сильной, постоянно двигаясь к новым достижениям, доказывать это, прежде всего, матери и, видимо, тому мужчине, о котором я почти ничего не знал, а в их лице — и всему миру; со мной же на первых порах она не знала, как себя вести. Я с удивлением и даже гордостью понимал, что во мне она встретила человека, который любил её просто так, ни за что, тоже принимая все её качества как подарок, который нельзя рассматривать придирчиво, чтобы не обидеть дарителя. Но она всё равно не могла поверить, что этот подарок принадлежит ей сам по себе, а не за какие-то заслуги: старалась отчаянно заботиться обо мне, готовить что-нибудь вкусное, соглашалась на все мои предложения — была со мной испуганно-ласковой, никогда не ругалась и даже не раздражалась, может, только внутри себя, но, видимо, сразу же давила это чувство. Она очень боялась меня потерять, и это было даже не от недоверия ко мне, скорее, от недоверия к самой жизни, к её высшей справедливости, по которой человеку ничего не даётся просто так.

Впрочем, проходило время, и иногда она как бы смирялась с необходимостью доверяться мне целиком, и тогда, желая испытать свой новогодний подарок по-настоящему, становилась целиком беззащитной и уязвимо-нежной. Но я знал, что если я вдруг предаю её, то она никогда больше не решится так довериться человеку — навсегда закроет свою душу не только от меня, но и от всех людей на свете.

Разве что в близости она могла позволить себе быть резкой со мной: подходила, иногда в самый неподходящий и неромантичный момент, например, после просмотра новостей, садилась ко мне на колени, лицом к лицу, и начинала жадно целовать. Только так она могла выплеснуть свои подавленные чувства. Но и здесь всё было не так просто: ближе к концу июня начался Петров пост, и Варя стала просить меня воздерживаться от близости в это

время. Я удивлялся, вроде бы мы и так не женаты — в пост или не в пост, какая разница, когда грешить, но для неё это было очень важно. “Это моя борьба со страстями, — говорила она мне. — Но ты-то тоже верующий, ты меня понимаешь”. Потом объясняла подробнее, так что выходило, будто бы от её победы или поражения в этой воображаемой борьбе зависели другие события в мире, а значит, если бы она смогла перебороть себя, то, может, где-то далеко не погибли бы люди, а может, и вообще — мгновенно закончилась бы война. И хоть я и не понимал ничего, но просто соглашался, чтобы поддержать её.

Но она не выдерживала сама, набрасывалась на меня, а после этой неожиданной близости долго плакала, как жестоко обиженный ребёнок.

— Почему, почему? Что не так? — спрашивал я, но она только всхлипывала и со злостью сжимала губы.

— Мы же любим друг друга, Бог всё прощает, — пытался я найти верные слова.

— Нет, нет, неправда, — морщилась Варя, словно я говорил какую-то глупость.

В следующий раз я пытался остановить её, отстранялся, говорил: давай перетерпим, ты же потом сама будешь расстраиваться. Она соглашалась, но целый день после этого стремительно шагала по комнате, громко ставила чашку на стол, не слышала моих вопросов; а мне было неудобно и тревожно, я не мог терпеть, когда между нами нарушалась эмоциональная связь, подходил к ней, стараясь смягчить. Она сначала недовольно водила плечом, а потом поворачивалась, впивалась мне в губы, и я поддавался, стараясь взбудоражить своё расслабление тело, — но это яростное желание не спасало её от подавленности и раскаяния после.

И когда, отлепившись от меня, она опять лежала, разбитая, наедине со своей нелепой виной, мне казалось, что дело вовсе не в ответственности и войне, а в тех проклятых людях, которые трогали её раньше, словно бы она каждый раз отдавала дань похоти этих людей и успокаивалась. И когда я думал об этом, мне и самому хотелось заплакать, даже не от ревности, а скорее, от жалости к ней и к себе. И почему же я не встретил её раньше, где-нибудь на первом курсе, как Катю, я бы тогда сохранил её от всего плохого, что было с ней: и дело было, конечно, не в эфемерной чистоте, а в том, что душа её не испытала бы той боли, которую никак не могла изжить в себе и с которой я со своей любовью и нежностью справиться не мог...

Я заранее знал, что через полчаса после этого приступа опустошённости Варя встанет с кровати и начнёт ожесточённо писать блог или смотреть ролики Кургузова на двойной скорости. Я к тому времени тоже немного успокоюсь и смогу сделать что-то по дому, помыть пол, посуду, просто полежать и отдохнуть. В такой день Варю лучше было не тревожить до поздней ночи — в этой буйной деятельности, охватывающей её после запрещённой близости, было нечто ещё даже более страстное, мучительное, высасывающее все силы без остатка. И иногда я даже думал, что, может, причина всех этих приступов вообще не в физиологическом влечении: может, ей просто нужно было извести себя невыносимой мыслью о том, что нам сегодня нельзя, потом броситься в пропасть, а упав, напиться своей яростной виной, прощение которой возможно было заслужить лишь кипучей деятельностью, а значит — она сама неосознанно стремилась к такому ритму, позволявшему ей перелопачивать огромное количество материалов и следить за деятельностью всей “ячейки” своего округа.

Уже потом, поздней ночью, когда я спал, она приходила ко мне, усталая, по-детски ласковая. Сквозь сон я осторожно прижимал её к себе, боясь, что одно неловкое движение, и она опять вскочит — и тогда либо горячая близость, либо сразу за компьютер к делам “ячейки”. Но в ней уже не было ничего яростного, а только то затаённое, кошачье, что выдавало в ней моменты полного доверия и расслабления.

Бог всё прощает, машинально повторял я свои слова, а она торопливо кивала и просила: давай прочитаем молитву. Я, конечно же, соглашался, и в сумраке нашей комнаты её тихий и нежный голос шептал: “Отче Наш...

да святится имя Твое...” Я повторял одними губами, а к концу засыпал, чувствуя благодарную теплоту в сердце, то ли к Богу, давшему мне Варю, то ли к самой Варе. И эта коротенькая молитва казалась мне в сто раз важнее наших с ней невоздержаний и вообще всего остального на свете. А потом всё опять возвращалось к привычному течению жизни, словно бы и не было никаких страстных порывов и слёз, и если бы на следующий день меня спросили, нет ли у нас проблем, я беззаботно и честно ответил бы, что всё хорошо и мы очень счастливы.

14

Но ни разу за эти два первых наших месяца Варя не позвала меня в “ячейку”. Сама она часто занималась чтением, подготовкой к собраниям и ведению своего политического блога, много рассказывала мне о проблемах движения, но всегда говорила об этом как об исключительно своём деле. Иногда ещё я ходил с ней на собрания, но тоже как бы лишь сопровождая её, ведь почему бы нам не сходить куда-нибудь вместе. Ребята из “ячейки” постепенно привыкли ко мне и даже считали полностью своим (ведь не мог же парень Вари быть не своим!), но на самом деле никакого отношения к Сути я не имел — не читал их газеты, не смотрел политические ролики, у меня не было собственного блога, где я писал бы что-нибудь об украинском фашизме или о том, как либералы извращают советское время.

Впрочем, когда однажды у меня на работе зашёл разговор о Кургузове и его движении, я слушал, не вмешиваясь, но с затаённой ревностью в душе.

— Да это кремлёвский проект, откуда деньги у этого сумасшедшего? — отрезала начальница Галина Евгеньевна, и мне стало как-то обидно, будто задели знакомого мне хорошего человека.

В июле, уже после отъезда Ромы в Таиланд, когда мы уже жили с Варей вдвоём в съёмной квартире на востоке Москвы, к нам часто заходил Паша, и они с Варей обычно подолгу обсуждали, что нужно сделать в ближайшем будущем, какие мероприятия провести. Костяк “ячейки” в последнее время разъехался по Москве, но всё равно никто не ушёл из отделения Северного округа, и все занимались его делами, кажется, ещё больше, чем раньше.

Варя и Паша ничего не скрывали от меня, я мог бы сидеть с ними и даже участвовать в разговорах, но мне и не было особенно интересно, а кроме того, неудобно всё время находиться рядом, словно я боюсь оставить их наедине, и я под каким-нибудь предлогом уходил на кухню. “Вот, Володя, есть познавательная статья, не хочешь почитать? — иногда лукаво спрашивал меня Паша. — Может, она придаст тебе смелости?” Но я каждый раз отшучивался. Меня не обижали его миссионерские попытки, скорее, неприятно было, что в такие моменты мы с Варей становились уже не двумя близкими людьми, к которым пришёл в гости третий, а тремя отдельными, одного из которых, маленького и недоразвитого, обступали двое других. Варя никогда не участвовала в этих уговорах, и только в её молчании иногда чувствовалось затаённая поддержка Паши — вроде как она и не против была, чтобы я сильнее погружался в политику, но не хотела давить на меня, ожидая, что я дозрею до этого сам. Впрочем, Паша уходил, а вместе с ним пропадало и это неприятное ощущение.

Но у Сути были и реальные дела: несколько десятков добровольцев из движения воевали на Донбассе, а “ячейки” со всей страны собирали гуманитарную помощь, закупали лекарства — и это было действительно настоящее и полезное, в чём хотелось участвовать. И когда Варя обмолвилась при мне о гуманитарной помощи, я сам предложил ей взять из моей последней зарплаты сорок тысяч и отдать от нас двоих. Она с благодарностью посмотрела на меня, обняла и надолго приникла к моей груди — ей очень хотелось принять участие в сборе, но родители присылали мало, а сама она должна была ещё учиться год в институте и пока только искала подработку на лето.

— Лучше не деньгами, деньги перехватывают в банках Украины. Я куплю бронжилет, — оживилась она.

— Ты разбираешься в бронжилетах? — удивился я.

— Всегда увлекалась милитаризмом, — пошутила она смущённо.

А ещё один раз нужно было забрать большую сумку-холодильник с инсулином у Васи Покровского, дружелюбного паренька, который нравился мне больше всех в “ячейке”, и отвезти к автобусу в Луганск — я как раз в тот день был свободен и вызвался помочь. Меня тогда поразило, что на автостанции Тёплый Стан среди десятка других автобусов стоял обычный фирменный “икарус”, какой поехал бы в любой город, в Тверь или Орёл, и только табличка на нём указывала, куда он направляется. Возле автобуса привычно курил немолодой загорелый водитель, а рядом стояли две женщины, разговаривали о чём-то невоенном и смеялись, будто ехали совсем не в осаждённый Луганск. И мне почему-то неприятно стало от их смеха, захотелось уйти и не стоять больше рядом, но человек, которому нужно было передать лекарство, ещё не появился. А потом прошли мимо двое коренастых мужчин в распахнутых рабочих куртках, и один, наверное, в сотый раз проговаривая привычное, произнёс, как смачно плюнул:

— Кондиционер, мать вашу...

По-видимому, это касалось последней бомбардировки города, о которой я читал, что её жертвы украинские телеканалы объясняли взрывом кондиционера. И мне как-то спокойнее стало оттого, что именно такие слова я и ожидал здесь услышать.

Тот, кого я ждал, оказался щуплым молоденьким парнем в очках. Он смущённо поздоровался и сказал:

— Передайте большое спасибо! Вася — человек! У меня мать в Алчевске с диабетом. Там таких ещё двести человек, — добавил он ожесточённо, а я торопливо кивнул, не зная точно, на кого он ожесточён — на украинцев ли, на ополченцев или вообще на всю войну — и потому не понимая, как мне лучше отвечать ему.

А когда мы уже попрощались, я увидел, что к автобусу идёт женщина лет тридцати пяти с маленькой девочкой, обе так легко одеты, что им, наверное, зябко этим прохладным вечером. Девочка тряхнула белокурыми волосами, посмотрела на меня в ответ и, кажется, замедлила шаг, но женщина потянула её за руку — они уже опаздывали к отправлению. У женщины были усталые глаза, но лицо ещё очень красивое. Куда же они едут сейчас, удивился я, и почему с ребёнком, туда — с ребёнком. И что за жизнь у этих людей, о которой я не знаю и не могу знать... “Икарус” догнал меня у метро, медленно, грузно переваливаясь.

А однажды мы и сами ходили работать на пункт приёма гумпомощи, который находился в одной из московских библиотек. Хорошо помню то утро. Было ещё прохладно, но в воздухе чувствовалась сковывающая горло сухость будущего жаркого дня. Мы шли с Варей, взявшись за руки, она чуть впереди, как молодая решительная мамаша, ведущая за собой ребёнка, и мне было весело от этого сравнения, и я даже чуть сдерживал шаг, чтобы наши руки сильнее натянулись.

Наши встречались на крыльце библиотеки. Когда мы подошли, собрались уже почти все, кроме Паши, он опаздывал — ранним утром у руководителей московских “ячеек” должна была состояться внеочередная встреча с Кургузовым. И пока ждали Пашу, толпились на ступенях и, подобно водной глади на ветру, колыхались, когда кто-то переступал с ноги на ногу или подходил к другому, чтобы перекинуться парой слов. Не было ни новеньких, ни Петра Петровича — только близкий круг, костяк. Влад Щукин по прозвищу Щука, хамоватый паренёк с гортанным утиным голосом, ходивший в “ячейку” вроде бы даже дольше Вари, артистично и со вкусом травил анекдоты, а остальные смеялись во весь голос. Двое неразлучных друзей — Юрка и Петька — ожесточённо играли с мелкими камешками, поочерёдно пиная их так, чтобы сбить несколько других, как пацаны во дворе. С краю, на перилах замерла незнакомая мне рыжеволосая девушка, приходившая несколько раз на собрания с Васей Покровским, а сам Вася стоял рядом и иногда целовал её в лоб. И только в углу высокий полный парень с густой щетиной, Лёша-поэт, благопристойно беседовал с Андреем о чём-то политическом.

— Говорят, он человек Ахметова, но это чушь, — журчало с их стороны, — был бы предатель, после аэропорта все бы от него разбежались. А раз нет, значит, верят...

— Спланированная кампания, всех героев хотят очернить!

Катя стояла рядом и, увидев нас с Варей, оживлённо помахала ладошкой.

— Варь, привет, — оживился Влад Щукин, когда мы осторожно приблизились и остановились рядом с компанией, — слышала последние новости из цирка? Этот чудик из Северо-Западной под шумок забрал у родителей пятьдесят тыщ и купил теплоприцел, — только это был уже не анекдот, а кажется, вполне реальная история. — Его отец пришёл к Паше, а тот говорит: “Что мне теперь, теплоприцел на рынке продавать? В армейском его обратно не примут...”

— Этот человек — идиот, — сразу же включилась Варя. — Вот из-за таких людей и начинаются разговоры, что Суть — секта.

— Да ну, ты чего, правильно сделал мужик, нашим помог, — вмешался Лёша-поэт, мгновенно отвлекаясь от разговора с Андреем.

Наконец появился Паша. Он шагнул из-за угла, весело подпрыгивая на ходу, как бы пританцовывая, и принялся обходить собравшихся, стараясь каждому уделить хоть пару секунд, — словно бы резкая струя ворвалась в человеческое озеро, и оно забурило вокруг. Долго и игриво разговаривал с девушкой Васи Покровского. “Ну, ты, Катюша, у нас теперь Роза Люксембург”, — сказал Кате, а та непонимающе усмехнулась, и я увидел, что ей по-прежнему не нравился Паша, но это стало уже привычным и не вызвало у неё тех сильных эмоций, как раньше.

— Как там Владленч? — спросил кто-то.

— Говорит, будем издавать книгу устроит Стрелкова. Тамошние надеялись, раскрутят его, а он свалит в Россию и устроит Майдан, но мы им не позволим!

Все мгновенно перестали болтать о постороннем, словно бы вспомнив, что они политическая сила, сгучились вокруг Паши, а потом хлынули вслед за ним в библиотеку, оглядываясь в непривычной обстановке, заполняя одну комнату за другой...

В целом работа напоминала приём товара в магазине — изматывающая и однообразная. Лёша-поэт заполнял большую тетрадь, какие бывают у кассиров в торговых киосках, а остальные таскали коробки с тушёнкой, лекарствами и снаряжением и сортировали их. Работница библиотеки, маленькая пугливая женщина, призраком перемещавшаяся повсюду, смотрела на нас, вздрагивая и ахая, — она вроде как и понимала, что делается доброе дело, но всё равно как бы боялась чего-то.

Товары встречались разные. Было много пятилитровых бутылей с водой, соединённых по две в полиэтиленовый кокон, как близнецы в животе матери. Разве там нет воды, удивлялся я, не дешевле ли было закупить её поближе к границе. Часто попадались блоки сигарет, а в одной из комнат в углу мы нашли огромный новенький сноуборд.

— Ничего так доска, да? — рассматривали его Юрка и Петька, но в этот момент подскочила работница библиотеки, и выяснилось, что это никакая не гуманитарная помощь и трогать его нельзя.

В коридорах попадались незнакомые люди, наверное, из других “ячеек”. Но сильнее всех выделялся поджарый загорелый мужчина лет тридцати-сорока, которого все называли Чёрным, — говорили, что он воевал на Донбасе, но по ранению находился сейчас в Москве. Он действительно немного прихрамывал, на сутевцев почти не смотрел, ходил повсюду, постоянно поплёвывая, и выискивал в груде вещей ему одному известные предметы.

— Бронежилеты четвёртого класса, берцы, разгрузки с подсумниками, противогазы, — шептал он вслух, словно бы у него в ухо была встроена рация, по которой он докладывал кому-то.

А если ему нужно было перетащить что-то тяжёлое, брал сам, не прося никого, да никто и не речался предложить ему помощь. И только женщина-библиотекарка, по-видимому, испытывающая к Чёрному особенное уважение, однажды попыталась схватиться за краешек большой картонной коробки, когда тот принялся поднимать её, но Чёрный мотнул головой — сам.

Впрочем, когда мы переносили упаковки с едой или воду, нам он тоже не помогал, а только выкрикивал куда-то в сторону:

— Грузите, грузите, щенки, — и все делали вид, что это нормально, а может, даже предназначается и не нам вовсе.

Уже ближе к обеду я проходил мимо одной из комнат, заставленной книжными стеллажами, в которой он сидел в груде железа и разочарованно разглядывал массивные резиновые сапоги.

— Не, с таким говном мы до Киева не дотопаем, — сказал он мне так, будто я тоже разбирался в военных делах и мы раньше говорили с ним на эту тему. Я старательно кивнул ему и поспешил дальше по коридору.

Работа постепенно подчинялась своему размеренному ритму, и я уже не вглядывался в содержимое коробок и ничему не удивлялся, просто носил или выполнял чьи-то поручения, и лишь отслеживал путь по лабиринтам библиотеки, то в одну, то в другую сторону, то с заходом в небольшой аппендикс, где складировали медикаменты, то без.

Машинально вслушивался в обрывки чужих разговоров.

— Я читал этого Дубина, он просто фашист...

— Они мечтали, чтобы русские залезли...

— Видели, Покровский с девушкой пришёл.

— Уведёт она Васеньку!

— Ну, за такой можно и уйти, а чего?...

На самом деле, я уже понимал всё, о чём они говорили, и слышал от Вари об этом самом Дубине, и знал, что руководители хунты хотели, чтобы русские ввели войска, и тогда бы Запад ввёл туда свои, и о Покровском мог бы весело пошутить — я был способен поддержать любой разговор, но мне всё ещё было неловко с ними, и я, как кусок сена на ветру, мотался то туда, то сюда, не говоря никому ни слова. Девушки работали отдельно от парней, и даже Андрей почему-то ходил другими маршрутами, так что мы с ним почти не пересекались, а остальные были для меня совсем чужими. Один раз мы случайно столкнулись в коридоре с Катей и остановились перекинуться парой слов, оглядываясь вокруг, как заговорщики, будто бы по законам “ячеечного” общества нам нельзя было говорить наедине.

— Ну, как вы? — улыбаясь, спросил я, имея в виду их отношения с Андреем.

— Да вроде хорошо, — смутилась она. — С Соней недавно встречались, но мало поговорили, у меня был пикет. Она замуж выходит, представляешь? — и погрузнела.

— Да ладно, вы тоже поженитесь скоро, — попытался я успокоить её, как раньше.

— Конечно, поженимся, — ответила поспешно. — Но сейчас это уже не так радостно...

— Тебе не угодить, — перебил я её, и мы вместе рассмеялись, а потом разошлись.

В помещении становилось душно, все ходили взмокшие от пота, а когда к внутреннему входу библиотеки подъехали две “газели”, и нужно было загружать их, каждый старался лишнюю секунду задержаться на крыльце — там, под широким козырьком, защищавшим от солнца, можно было даже поймать случайное дуновение свежести и попытаться с жадностью вдохнуть его ускользающий след. Утреннее беззаботное настроение выдохло, ощущались только усталость да накачивающее волнами раздражение.

Лёше-поэту наскучило заполнять кассовую тетрадь, он достал полторалитровую пластиковую бутылку, и они с Владом Щукой начали по очереди отхлёбывать из неё. Работа не прекратилась, но оба стали заметно хмелеть.

— На выборах — кто угодно, только не нынешний, — настаивал Щука, — просто надоел этот застой. Интересно посмотреть, что будет!

— Так выборы только через десять лет, — устало шутил проходивший мимо них Юра.

— Через двадцать, — подхватывал Петя, и уже через секунду они с грохотом выскакивали из комнаты, неся новые громоздкие коробки и стараясь обогнать один другого.

А Шука вливал в себя новую порцию, а потом, поднимая груз, багровел и по-стариковски кряхтел. Лёша-поэт ставил неровную пометку и, не дожидаясь друга, делал внеочередной глоток. А в одно из моих появлений в комнате я застал их вместе с Андреем.

— Я тебя привезу на передовую, прямо к окопам. Скажи, ты поедешь со мной? — ярился Лёша.

Андрей стоял рядом, злой и подавленный.

— Скажем так, я хотел бы поехать... Но пока не могу сказать точно.

— Нет, ты ответь, мужик ты или нет, — настаивал тот. Но мне уже нельзя было больше стоять и слушать, не привлекая к себе внимания, и нужно было нести новую порцию, а когда я вернулся через несколько минут, Андрея уже не было.

А во время одного из перекуров, когда мы сидели прямо на полу, откидываясь на груду вещей, и ели отмеренный каждому из нас сухпаёк, в комнате появился Паша. Он ворвался вихрем, торопливо оглядел комнату, продолжая говорить с оставшейся на пороге пугливой работницей библиотеки.

— Человек, способный на подвиг, когда-нибудь этот подвиг совершит. Он будет, например, бухгалтером... Совсем негероическая профессия, да? Но будучи не нытиком, а потенциальным героем, он... Ну, не знаю... Займётся хотя бы альпинизмом... А если к нему в бухгалтерию придёт бандит с пистолетом и заставит отдать все деньги, то он отнимет пистолет, а бандиту на костылях... И не потому, что такой у него служебный долг, а потому, что у него героическое естество...

Деловито заглянул в тетрадь, поднял блок сигарет, сиротливо лежавший под ногами, отброшенный второпях из общей кучи.

— А Стрелков героем не был, — сказал, обращаясь уже не к женщине, а к нам, — хотел погонять украинских офицеров и чуть-чуть погеройствовать... Типа реализуется крымский сценарий, и его примут в новую структуру. А не вышло! — развёл руками и шагнул обратно в коридор.

— Героизм мы воспитываем через лекции и собрания. Но самое главное — на школах в базовом лагере в Васильевском. Отличное место! Там реально куётся человеческий характер... — его назойливый царапающий воздух голос ещё долго доносился откуда-то издалека. А мы вставали, взваливали на себя новый груз и шли, и шли по длинным коридорам, не вдохновлённые, а скорее разозлённые его воодушевлением.

Погрузка заканчивалась. Юрка и Петька небрежно забрасывали последние коробки с консервами в кузова газелей, отчего те расхлябывались на глазах. Лёша-поэт поскользнулся на ступенях и завалился едва ли не под задние колёса — Шука помог ему подняться. Наконец, “газели” уехали, ребята зашли обратно в библиотеку, а я на минуту задержался и оказался на крыльце один.

Стало уже прохладнее, но дышалось по-прежнему с трудом. Из чёрного зева библиотеки раздавался пьяный смех. Я машинально двинулся в темноте вперёд по знакомому маршруту, но в последний момент задержался и свернул куда-то вбок, в одно из ответвлений лабиринта — там обнаружилась лестница, а с пролёта второго этажа свисал косой луч света. Я поднялся и заглянул в приоткрытую дверь: в большой комнате среди множества книжных стеллажей за приземистым столиком, над которым горела яркая настольная лампа, сидели Варя и Катя и перебирали несколько таких же тетрадей, какие заполнял сегодня Лёша-поэт. Андрей стоял рядом, опершись на стену, и рассеянно смотрел на книжные корки на ближайшем стеллаже.

— Если я пойду в церковь, то меня сразу должны отлучить: я не ходил в армию, я откупился, это грех, — ожесточённо сказал он.

— Да нет же, — мгновенно расстроилась Катя.

— Нет? Тогда я не понимаю вашу церковь.

Они опять спорили о вере, дорогие мои Катя и Андрей... Я остановился на пороге, напитываясь человеческим теплом, которое и не надеялся найти в этом чужом месте.

Тем временем, оживилась Варя. Она держала в руках планшет, машинально ещё занося над ним распластанную ладошку, но уже не нажимая на электронные кнопки.

— Андрей, ты во многом прав, но зря упрекаешь всё христианство, — начинала она мягко, но с обычным спрессованным напором в голосе. — На самом деле, настоящий социализм первый раз появился в Иерусалимской общине, это было самое справедливое общество в мире, — один локон волос падал ей на лицо, она быстро поправляла его теми же растопыренными пальцами, не сжимая, словно бы, когда она держала их так, незримая работа на планшете продолжала выполняться.

— Это уже в прошлом, — отозвался Андрей. — Посмотри, что сейчас!

— Сейчас капитализм везде проникает, и в церковь тоже, — легко согласилась Варя. — Но мы должны не разъединяться, а работать вместе.

— Вот именно — работать! Ты же знаешь, православные сейчас вообще не участвуют в общественных делах... Например, ювенальная юстиция...

— Православные должны участвовать, если они по-настоящему православные! — перебила его она, несколько раз коснулась экрана и отложила планшет.

Андрей с силой выдохнул, Варя принялась складывать в стопку тетради. Катя же молчала и смотрела на них с возмущённым ожиданием — она любила, когда Варя спорила с Андреем о вере, потому что её, Катю, взгляды Андрей воспринимал как причуду, досадное недоразумение, с которым нужно просто смиряться, а вот религиозность Варвары была для него действительно серьёзным доводом. Но то, что говорила Варя сейчас, не устраивало Катю своей мягкостью по отношению к Андрею, слишком “по-ячеечному” это звучало, и Катя пыталась подобрать слова посильнее, но никак не могла.

— Ладно, это ваши темы, я в них не вникаю, — отмахнулся Андрей, и Катя вздохнула с привычным возмущением:

— Вот всегда так... Когда же ты поймёшь, что это не клуб по интересам!

— Душно здесь, пойду, проветрюсь, — сказал он ожесточённо и протиснулся между сходящихся стеллажей куда-то вглубь комнаты, где притаилась узкая балконная дверь, распахнул её и сердито затворил за собой.

Катя сжала губы и отвернулась к стене. Варвара, не придавая большого значения их спору и уходу Андрея, схватила кучу тетрадей разом, с трудом удерживая равновесие, шагнула к двери и увидела меня:

— О, это ты, подержи!

А когда я подхватил тетради, ловко перевязала их откуда-то взявшейся верёвкой и кивнула на свободное место в одном из стеллажей у двери, чтобы я положил их туда. А потом, смутившись, на секунду прильнула ко мне:

— Я всё время занята. Не сердись?

— Нет, ты чего, — ответил я вроде как с удивлением, хотя мне и понравились эти слова.

Я мог бы посидеть с девочками, но тогда получилось бы, что Андрей на балконе, а мы здесь, в эдаком своём религиозном кружке, а это было неловко. Но и возвращаться на первый этаж к Паше и остальным мне не хотелось, и потому, потоптавшись, я отправился вслед за Андреем.

Надвигались бледные летние сумерки. Крошечный балкон, на котором двое могли поместиться лишь вплотную, не был застеклён, и потому, войдя, я сразу попал в густую листву огромного клёна, как бы припадавшего ветвями к стене здания. Лишь слева остался небольшой прогал в листве, и сквозь него был виден раскинувшийся вдаль город, неожиданно низкий, вроде бы и не Москва вовсе. Андрей не удивился мне, только подвинулся, освобождая место. Я переступил с ноги на ногу, чтобы удобнее устроиться на узком пространстве. Осторожно взглянул на него — Андрей стоял, локтями опершись на балконные перила, а правой рукой произвольно водил по собственной груди.

— Сердце болит?

— Иногда. От духоты.

— Надо к врачу, наверно? — но он только недовольно двинул плечом.

Мы помолчали. Под ногами лежали строительные материалы и мешки, а рядом — железяки; к стене была примотана изолентой пепельница со скрученными тельцами окурков внутри. Я перестал подбирать, что бы сказать,

и просто отдался мыслям и чувствам о сегодняшнем дне. Раздражение после тяжёлой погрузки ещё ощущалось, но уже сменялось удовольствием от законченного большого дела. И было приятно, что стал сегодня причастен к важному делу и что загруженные нами “газели” с сотнями других машин поедут к измученным войной людям, и среди всех продуктов и лекарств — наш бронезилет, который, возможно, спасёт чью-то жизнь. Потом подумал о “ячеечных”: Щуке, Лёше-поэте, Юрке и Петьке, и даже о Паше. Ну, интересуются политикой, хотят быть коммунистами, почему нет. И может, так и надо, разделяю я убеждения Кургузова или нет, какая разница для тех людей, которые получают эту гуманитарку, и какая разница для меня — не в президенты же мне с этими убеждениями баллотироваться...

— Володя, ты ведь не служил в армии, да? А почему?

Я опять повернулся к Андрею и растерянно пожал плечами.

— По зрению негоден.

— Ты молодец, — неожиданно похвалил он меня. — А я вот заплатил военкомату. После института. Мать настояла, но я сам виноват, что согласился.

— Ну, это обычно дело, ничего страшного...

— Нет, страшно, — возразил он, ожесточаясь. — Теперь я ничего не умею, случись мне оказаться в бою, от меня никакой пользы не будет. Я даже не смогу проверить, трус я или нет. Меня должны были бы посадить в тюрьму за дезертирство. Да, сейчас не сажают, но я-то сам знаю, что виноват.

Он переживает после сегодняшнего разговора с Лёшей-поэтом о передовой, догадался я. И сразу неловко стало за наивность Андрея и за то, что он так близко к сердцу принимает чью-то беспечную болтовню.

— Вот мы живём здесь обычной жизнью, — продолжал Андрей, — не поднялись в 1993-ем году, хотя могли бы спасти страну. И сейчас не поднимаемся... единичные герои, а остальные — ничего. Мы все слабаки.

— Но вот помогаем, собираем гуманитарную помощь, — возразил я, не чтобы возразить, а скорее, чтобы подбодрить его.

— Это и женщины могут делать, — ответил Андрей недовольно. — А есть люди, которые едут туда, и я виноват и тоже должен ехать...

Я удивлённо повернулся к нему — это была неожиданная мысль, вырвавшаяся из привычного круга “ячеечных” тем. Краем глаза я посмотрел сквозь стекло: там, в комнате, Варя и Катя стояли рядом, а Катя взмахивала руками. На балкон почти не проникали звуки, но мне хотелось думать, что они сейчас обсуждают отношения Кати и Андрея или наши с Варей, и это было приятно, и хотелось скорее уйти с балкона в теплоту женских разговоров о чувствах и о церкви.

И потом, когда мы уже возвращались из библиотеки, я ещё вспоминал слова Андрея про Донбасс, но всё больше не само желание ехать и воевать, а то, как бы восприняла это Варя, если бы так сделал я. Я вглядывался в её лицо, пытаясь понять — стала бы она переживать или, наоборот, гордилась бы мною? Фантазировать на эту тему внезапно оказалось очень легко. Я останавливал себя, ругал, повторял: ну, и дурак же ты, спрятался бы от первого же взрыва, но от беззаботных ребяческих мыслей на душе становилось весело, и хотелось рисковать собой и даже погибать, но чтобы она обязательно знала — стояла бы в чёрном траурном платье, может, даже в слезах, а к ней подходили бы и утешали, а она плакала, но вместе с тем — и уважала бы меня, как никогда раньше. Хорошо, что мы остались вдвоём, думал я, и хорошо, что сегодня не пост, и не среда или пятница...

15

Мы вернулись в квартиру, я сразу шагнул в ванную и долго, с наслаждением, умывался после напряжённого дня. А когда вошёл в комнату, Варя сидела за компьютером и смотрела видео, на котором несколько мелких людских фигурок разбирали развалины жилого дома — одна его часть стояла нетронутой, можно было закрыть рукой половину экрана и увидеть обычную

старую пятиэтажку с однотонными синими балконами; другая же часть была аккуратно срезана, как ножом по маслу, превратившись в огромную бетонную грудку, по которой, как по горе, можно было забраться наверх, к последней уцелевшей стене. По развалинам двигались спасатели в синих комбинезонах и обычные мужики, одетые кто во что.

Я осторожно подсел рядом.

— Это сегодня?

Она кивнула.

Работали медленно, многие стояли, рассеянно оглядываясь, один парень присел на корточки на плиту, а когда её принялись сдвигать, торопливо отпрыгнул и начал толкать, как и все. Долго возились с толстой проволокой, на которой, как тяжёлые бусы, висели крупные бетонные куски. Ничего было не понять толком. Камера выхватывала среди развалин вещи — большую женскую сумку, настенные часы, пересечённые ровной трещиной. Неуклюжий уставший трактор за цепочку оттаскивал ярко-салатовую плиту, засыпанную мелкой крошкой, — под ней был человек, и его пытались достать, но камера опять перескочила. Машина “скорой помощи” с длинной украинской надписью на боку стояла, тревожно подрагивая огоньками мигалки на крыше. Потом показали осколок другой плиты, на котором кляксой запеклась кровь.

— Давай не будем смотреть, — попросил я.

— Нет, надо смотреть, — ответила она с остервенением. — Надо смотреть всё, что выкладывают. Чтобы потом не забыть, кто виноват.

Видео закончилось, и она запустила следующее, но вместо разрушенного дома на экране появился мужчина в яркой клетчатой рубашке с высунутым языком, который, танцуя, вертел в руках бургер — это началась реклама перед новым просмотром. Варя торопливо застучала по клавиатуре, сильно убавляя звук.

— Десять человек погибло, а может, и больше. А знаешь, что самое страшное? Везде предательство. Ростовские говорят — оружие пропало. Я даже после Одессы так не расстраивалась, там понятно — враги, а тут оказывается, что враги — свои. Они делают на этом деньги, представляешь? Выродки, они даже хуже бандеровцев...

Реклама кончилась, и на экране немым кино вспыхнули взрывы сквозь зелёную листву, воронки на взрыхлённом асфальте, кровавые тела. Кажется, это была одна из первых бомбардировок, не меньше месяца назад, мы тогда только начали встречаться — то ли это видео случайно попало вместе с сегодняшними, то ли Варя нарочно просматривала самые жуткие эпизоды, чтобы сильнее ожесточиться. И странным было, что этих взрывов и истекающих кровью людей уже нет, а разрушенный дом, показанный минуту назад, есть, и кто-то, может, ещё жив под обломками, и вот в эту самую секунду кричит и умирает, а мы здесь вполне можем перепутать одно с другим, и только даты под видео отличают для нас настоящее от прошлого.

Я повернулся к Варе и вдруг подумал, что ведь и она ещё недели две назад узнала о пропавшем оружии и переживала тогда, но не так сильно, как сейчас, или, может, держала это в себе, — и в этом несовпадении внезапно вспыхнувших человеческих эмоций и реального происшествия тоже было что-то неестественное.

— Не все же такие, как ты говоришь, — возразил я ей, раздосадованный этим несовпадением.

— Их много, много. Ты даже не представляешь, сколько врагов среди нас... Я ненавижу их всех, всех этих дубиных и просяковых... И этого труса Стрелкова. Их нельзя прощать, это грех — прощать таких!

— Давай прочитаем молитву, — сказала вдруг тихо и уверенно.

Я вскочил, обрадованный тем, что сейчас она хоть немного успокоится и станет мягкой и умиротворённой, как бывало с ней всегда, когда мы молились на ночь, засыпая после наших страстных воздержаний. Она поднялась медленно, переделась в ночную рубашку, сложила одежду в шкаф, взяла со стола несколько лежавших там вразнобой книг и поставила их на полку, по пути не забыла накрыть салфеткой клавиатуру ноутбука.

Встала прямо перед иконой, почти что лицо в лицо, а я неловко примостился рядом, втискиваясь между ней и краешком стола.

— Живый в помощи Вышнего, — начала она совсем не то, что мы читали обычно, — в крове Бога Небесного водворится.

Она продолжала дальше, ровным монотонным потоком, лишь иногда с напором выделяя отдельные слоги, как заколачивая деревянную крышку. Тяжёлые старославянские слова, вырываясь из неё, наполняли комнату и, не находя здесь свободного места, теснились уже вплотную, толкаясь.

— Оружием обыдет ты истина Его... стрелы, летящая во дни... беса полуденного...

Я испуганно стоял рядом, не зная, повторять ли мне за ней или нет. Иногда ещё мне хотелось остановить Варю, но я боялся, потому что тогда не только на этих далёких врагов, но и на меня обратился бы её гнев.

Наконец, слова закончились. Она ещё несколько секунд стояла в напряжённой тишине, которой уже не нужен был её голос, чтобы пульсировать ожесточённой молитвой. Повернулась, а я постарался отвести свой взгляд. Потом ушла в ванную, и я услышал, как кто-то методично чистит там зубы. Варя вернулась, мы выключили свет и легли на кровать. Я повернулся на бок и не мог пошевелиться, глядя на едва видный силуэт её головы и плеча.

Ночь постепенно скывала сном, но я не давал себе уснуть раньше Вари. А когда уже стало совсем невмоготу, поднялся, виновато улыбнулся её лицу в темноте. В ванной включил холодную воду на полный напор и сунул под него голову — брызги хлынули по стенам, зеркалу, потекло по плечам. А потом с силой вытерся, вернулся в кровать и ещё долго лежал в молочной темноте.

В ту ночь мне снился небольшой пятиэтажный дом в пару подъездов, который мы только что видели на записи, то ли ещё не разбомбленный, то ли чудесным образом воскресший из обломков. В маленьком городке, где он стоит, нет ни газа, ни воды — и мужики в синих спасательных костюмах с ведрами ходят к реке, а остальные развели костёр прямо на асфальте у входа в подъезд и по очереди пекут в золе картошку. В толпе я замечаю и ту женщину с маленькой белокурой девочкой, которую встречал пару недель назад у автобуса в Луганск, и щуплого мужчину в очках, и его мать, больную диабетом, для которой Вася Покровский передавал через меня инсулин. А с краю, за спинами, в куртке защитного цвета — Андрей. “Тоже здесь”, — удивляюсь я и не знаю, радоваться ли мне этому или печалиться. На скамейке расстелили белую скатерть с праздничной бахромой и нанесли из квартир, у кого что было, — соленья, половину копчёной курицы, яблоки. И вот измотанные непрерывным сидением в подвалах люди стоят, обступив костёр, передают друг другу печёную картошку, разливают по стаканам родниковую воду, и в эту секунду уже не думают о том, что было и что будет...

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

16

Седьмого ноября Кургузов устраивал на Краснопресненской заставе большой митинг, посвящённый годовщине революции. Я приехал на “Баррикадную” за полчаса до начала. Уже сгустились ранние, почти зимние сумерки. Дул ледяной ветер. На выходе из метро люди инстинктивно съезживались и закрывали лица руками. Железные ограждения, отделяющие пространство будущего митинга, как пьяные, качались под порывами ветра, мерно позванивая, а за ними, у деревянной сцены, уже собиралась красно-чёрная толпа с флагами и транспарантами. У рамок металлоискателей бродили активисты движения и лихорадочно, почти наобум, протягивали прохожим политические газеты. Вокруг площади тёк яркий поток машин.

Наша “ячейка” договорилась встретиться не у памятника, а в “Шоколаднице” неподалёку, и когда я вошёл внутрь, меня мгновенно разморило от

тепла, запаха свежих булок и тесноты — множество людей спасалось здесь от непогоды, набившись, как в трюм корабля в надежде переждать шторм. За дальним столиком в углу я заметил своих. Были уже все, кроме Паши и Варвары, которые должны были сегодня выступать и потому изначально собирались в другом месте с Кургузовым и руководителями московских “ячеек”. В центре стола вместо кофе и десертов лежала большая куча пластиковых бейджиков и спутанных жёлтых верёвочек к ним, а Катя старательно отделяла одну верёвочку от другой, то и дело резко вырывая какую-нибудь из змеиного клубка. Увидев меня, она приветливо замахала ладонью и протянула приготовленный заранее бейджик. Андрей сидел рядом и расчерчивал на квадраты большой альбомный лист.

— А у меня “пресса” написано, это нормально? — недовольно спросил у Кати Влад Щука.

— Да, да, просто было распоряжение минимум троих от “ячейки”, и я тебя вписала тоже...

Беспрерывный шорох человеческих голосов мешался с навязчивой музыкой. Рядом со столиком протискивались люди. Андрей окликнул меня и протянул сбитую в ком и перетянутую спортивным жгутом красную куртку, а я принялась неловко переодеваться, прижимая к себе локти, чтобы никого не задеть.

— Кать, идём? — наконец, спросил кто-то, и все двинулись к выходу, протискиваясь, задевая по пути чужие плечи, неловко выставленные в проход стулья. Вывалились на холод и нестройной толпой зашагали вперёд, пересекли оживлённую дорогу, а потом мурно проходили через рамки металлоискателей, то и дело останавливаясь, дожидаясь, пока полицейские выпустят каждого следующего из своих цепких рук. А я шёл следом, подчиняясь общему движению, сильнее кутаясь в просторную куртку от хлеставшего со всех сторон шального ветра.

Наша колонна должна была располагаться в центре, почти прямо перед сценой. Мы построились в ряды по пять человек, как и было положено, и встали в ожидании начала. То и дело из наших ртов вырывались клубы пара, наверное, со стороны мы походили на войско маленьких драконов. Тяжёлое небо нависло над головами железных статуй памятника героям 1905-го года, осторожно выглядывающих из-за самодельной деревянной сцены. Я находился в третьем ряду, и мне хорошо видны были доски, из которых была сделана сцена, две стойки микрофонов и даже неровный отрез картонки, заботливо подложенный под них. Внизу, у лестницы на сцену, собирались люди. Среди них я заметил и Варю. На куртку ей падал мерцающий свет огромного прожектора, направленного на сцену, и ласковыми волнами гладил по плечу, а я даже залюбовался ею, как в те первые наши весенние встречи, когда мы ещё почти не были знакомы. А потом все быстро скрылось за сценой, и от воспоминаний и оставшейся пустоты мне стало тоскливо.

Чуть сзади построение нарушалось, и в ряду могло оказаться по шесть и даже семь человек. В узком прогале между нашей и соседней колонной притаилась маленькая старушка в белоснежном льняном платке, из-под которого выбивались пряди седых волос.

— В 1993-м году ходила я на Горбатый мост, вот там было страшно, родные мои, — тихо причитала она. — Вы не застали, вы ещё маленькие были, а мы-то видели всё... А я потом слегла с воспалением лёгких, и только ящик проклятый смотрела, Бог меня уберёт...

Вася Покровский, стоявший рядом, держа в руках свою меховую шапку, был на две головы выше, старательно наклонялся к ней и слушал, ему, видимо, было неудобно перебить — слова старушки тонули в монотонном шуме, и только иногда доносился до меня тоненький надтреснутый голосок.

Андрей был командиром нашей колонны, ходил перед первым рядом и взволнованно вглядывался в нас, желая найти изъян в каждом, а иногда ещё нервно посматривал на часы в ожидании начала. Потом откуда-то справа по рядам передала приказ: красные куртки вперёд, кто в обычном — перейти в задние ряды, и я подумал: неплохо, что Андрей в последний момент нашёл для меня куртку — с крымского митинга прошёл уже почти год, и они

становились редкостью. Наконец, все заняли нужные места, ряды выровнялись. И уже почти перестали разговаривать друг с другом, лишь одобрительным гулом встречали любое шевеление возле сцены в предчувствии скорого начала.

Было слышно, как Вася Покровский тихо, но настойчиво говорит старушке:

— Мы выросли, бабушка.

— Нет, вы ещё не выросли, — отвечала та, и, обернувшись, я увидел, как сокрушённо качает она головой.

Наконец, быстрым, почти танцевальным шагом по ступенькам лестницы поднялся Кургузов, края его расстёгнутой, несмотря на холод, куртки то и дело распахивались, как крылья; шапку он держал в руке; красный клетчатый шарф был небрежно намотан вокруг шеи; в петлице подрагивала георгиевская лента с пятиконечной красной звездой. А когда встал у микрофона, его лицо — напряжённые глаза и сжатые губы — показали на огромном экране над сценой.

— Товарищи... — голос его, как обычно, хриплый, не сразу вырвался наружу, и пришлось повторить ещё раз, выгаливая его силой: — Товарищи... Мы собрались здесь в наш день, в день Великой Октябрьской социалистической революции... Тот день стал началом великих свершений, началом начал... В тот день мечта, сопровождавшая человека от самого истока его существования, впервые стала реальностью. Равенство и братство перестали быть сюжетом для утопических романов. Чудес не бывает, но чудо произошло... Я поздравляю вас, товарищи!

Ему ответили надрывно, изголодавшись по крику. Я тоже крикнул, но как-то неуверенно, стесняясь своего голоса, который звучал глухо, не сливаясь с общим хором. Кургузов дал нам возможность закончить, кивнул, довольный хорошо выполненной работой. Я впервые видел его близко: лицо, покрасневшее от холода щёки, глаза. Он говорил без бумажки, слова рождались будто бы сейчас, прямо в хрипящем горле, а потом, разрываясь, падали в толпу.

— Тогда, почти сто лет назад, большевики подхватили больное умирающее русское государство, разрушенное либералами и ввергнутое ими в пучину гражданской войны... И за двадцать лет превратили поставленную на колени страну в мощную индустриальную державу, способную победить сильнейшую армию на земле... Но дело было не только в особых организаторских талантах большевиков. Дело было в том, что русский народ сердцем принял учение о коммунизме. Принял потому, что оно было созвучно его тысячелетним мечтаниям о справедливости и о целостности...

Когда он замолкал на секунду, чтобы сглотнуть, было слышно, как совсем рядом кто-то монотонно колотит древком флага об асфальт и как сзади всё так же причитает старушка. Спереди и чуть справа от меня, скривив лицо, чему-то усмехался Влад Щукин. Андрей, стоявший перед первым рядом, иногда резко оборачивался и нервным взглядом обжигал всех.

— Русская миссия состоит в том, чтобы принести справедливость и целостность и подарить её человечеству, — Кургузов больше не напирал, а как бы ткал свою речь, чтобы теперь не воодушевление и не страсть, а мысль вела за собой собравшихся. — Это спасительный для человечества дар. И принести его в мир могут только русские в силу определённых их способностей, сформированных за тысячелетия. Они страшно дорого заплатили за это. Они лишили себя очень и очень многого. Но, принеся огромные жертвы, они сформировали в себе эту способность, — и эта его мысль вдруг понравилась мне. — Замысел по уничтожению русских созрел у тех, кто не хочет, чтобы русские подарили человечеству целостность. Врагу не нужно это. Абсолютному, метафизическому врагу. Враг хочет, чтобы человечество не получило никогда дар под названием целостность. И не перешло на новый уровень, а, напротив, низверглось в бездну...

Вегер ударял Кургузову прямо в лицо, искушая надеть шапку, неловко схваченную за край, но он заставлял себя терпеть, и это вызывало во мне уважение. Я стоял, слушая не столько сами его слова, сколько их пульсирующую

силу, и ощущал, что в них на самом деле есть правда — да, может, правда в стиле Вари или Андрея, но всё равно. Потом я оглядывался вокруг и думал: нет, не только из-за Вари я пришёл сюда, а потому, что сам чувствую необходимость быть с этими людьми, стоять в одном ряду, плечом к плечу, защищать наш город, как ополченцы в Донецке защищают свой. И пусть эта мысль была слишком возвышенной, и может, и не моей вовсе, но я уже не мог теперь думать иначе. И было радостно, оттого что вечером я расскажу об этих своих мыслях Вале, и это понравится ей, и, может, сегодня наконец-то мы будем счастливы.

— Но не внешние враги развалили нашу страну... внешние лишь способствовали этому. Наше великое государство разрушил вирус потребления, пошлого мещанства, попавший в советский строй, мы продали свои идеи за чечевичную похлёбку... Сначала, когда большинство из вас только-только родилось, номенклатура, бездарная элита способствовала разрушению государства. А пока вы росли, они добивали всё советское, пытаясь вытравить его из нашей памяти, обливая помоями... Но самое страшное, что тамошние — это даже не банальная пятая колонна, не агенты влияния, не креативный класс, соблазненный комфортом... Тамошние — это обычные люди, которые с унылым фанатизмом повторяют, что в их стране никогда не было и не будет ничего хорошего... Люди, для которых западничество — своего рода религия... духовное быдло, крысы, замороженные дудочкой флейтиста... Тамошние правят сейчас Россией. Но Россию мы им не отдадим!

“Россию им не отдадим, — нестройно поддержали его колонны, не сразу поверив, что настал черёд отвечать, но потом, собравшись, ударили мощным гулом: — Россию им не отдадим... Россию им не отдадим...” Я тоже крикнул, а в следующую секунду — ещё раз, сильнее, отчаяннее, больше не сдерживаясь, желая выкричать всю свою подавленную злость и боль.

— Запомните это, запишите в своём сердце, дорогие соратники, — сказал Кургузов вдруг вместо “товарищи”, и колонны вздрогнули, как большое ровное озеро под внезапным порывом ветра, отзываясь на это обращение. — В каждом человеке есть огромные силы. Но многие почему-то берегут их, не хотят использовать. Но берегут они их для могильных червей... Главная проблема нашего времени в том, что русские пребывают в нирване. Это можно назвать сном на бегу и, увы, сном без пробуждения, без решимости меняться. И пока это так, глобальная катастрофа неминуема. Это не значит, что нужно опускать руки, а значит, что эти силы необходимо активизировать — сегодня, сейчас. Либо мы успеем создать то, что окажет противодействие окончательному обрушению России. Либо нет, и тогда всё закончится в ближайшие годы...

— Вы, неспящие люди, должны знать: раньше, поодиночке, вы были слабыми, вы были белыми воронами, но теперь нас тысячи, и мы уже настоящая сила. Вместе мы новое войско, новая армия. Вместе мы — народная интеллигенция, которая создаёт организацию нового типа, организацию пробудившихся. Вместе мы построим русский мир... настоящий русский мир в интересах не только России, но и всего человечества, — ветер хлестнул ещё сильнее, распаясь в ответ, стараясь перебить его, так что слова Кургузова из колонок иногда действительно терялись, но их общее движение уже было не остановить: во всё колокольное горло звенели железные ограждения, каракатицей переливались огни от мерцающего экрана, даже памятники за сценой оживились. А Кургузов продолжал биться с взбудораженной стихией, выкрикивая в нашу огромную живую площадь:

— Что должно питать вас? Страсть! Страсть — это любовь в высшем её проявлении, это огонь, способный переплавлять людей, придавать им новые качества. Надо уяснить себе: если в тебе есть страсть, если ты готов платить по очень крупным счетам, ты можешь всё! Что такое платить по очень крупным счетам? Это работать по двенадцать часов в день, недополучать, лишать себя элементарных удовольствий. Если ты на это готов, то сможешь стать частью настоящей силы. И это не вопрос проектов или элитных игр. Это вопрос твоего таланта и твоей страсти. Россия ещё не капитулировала перед смертью. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи!

Я видел, что он был раскован и одновременно сосредоточен, им владело то сильнейшее вдохновение, которое позволяет быть свободным и в то же время с опытностью мастера рассчитывать, сколько секунд протянуть паузу: здесь — лёгкую синкопу, здесь — акцент, здесь — глубокий вдох, а на следующую фразу обрушиться всей мощью. Я понимал, что он уже не чувствует ни ветра, ни жгучего холода, всё было подавлено и побеждено, он ощущает только трагический дух истории, сопутствующий самым страшным и судьбоносным её моментам; этот дух наполнял сейчас сцену, площадь, его самого, человека, который в этот краткий миг стал во главе важнейших мировых процессов, — он ведёт историю вперёд, он творит будущее. Я вдруг вспомнил, как услышал однажды от кого-то, что Кургузов связан с властью и спецслужбами и что на самом деле все его слова — это игра, и подумал: не может быть, никак не может этого быть...

— Через неделю состоится наша ежегодная осенняя школа высших смыслов. Это важная часть нашего общего пробуждения, построения нашей организации. Мы работаем вместе круглогодично, но фундамент закладывается именно там, на школе! Две недели мы с вами будем жить бок о бок, заниматься политическим образованием, напиваться страстью, без которой невозможны великие свершения. Мы говорим: со школы вы вернётесь другими. Вы научитесь тому, чего не знаете. Вы сможете вести политическую войну. Вы станете центрами сосредоточения духа и воли, станете способными сломить ситуацию, дать отпор врагам и, в конце концов, спасти Россию...

Площадь окутали сумерки. Когда он сошёл со сцены, никто больше не торопился подняться туда. Никто не двигался. Мы стояли в тишине, и было слышно, как отрывисто хлопают флаги, будто из них выбивают пыль.

17

Промёрзшие и усталые, мы ввалились обратно в уютную “Шоколадницу” и, как тяжёлые спелые груши во время урагана, попадали на диванчики возле того же столика в углу, где ещё два часа назад Катя разбирала жёлтые верёвочки с бейджиками. Нас было меньше, остались только самые близкие, девять человек со мной и Варей. Хотелось уже вдоволь напиться горячего капучино и съесть чего-нибудь сытного. Я не стал дожидаться официанта и решил сразу идти к кассе за кофе.

— Тебе взять? — спросил у Вари, но она только покачала головой. — Ладно, я быстро.

И пока стоял у стойки, глядя, как снуют туда-сюда работники в бурых фартуках, как ловко управляются с замысловатым механизмом, аккуратно счищают кофейную труху с ситечек, вертят в руках кружку, вырисовывая карамельное сердечко на сливочной поверхности, меня постепенно размариовало, и я сам погружался в ту же мягкую молочную пену, как в сбитую перину. Потом схватил два горячих стаканчика, с силой сжимая их подушечками пальцев, потому что касаться голой ладонью картонной поверхности было невозможно, и весело, как эквилибрист, играючи исполняющий сложный номер, поспешил к столу.

Все ждали меня и молчали. Видимо, они уже сделали заказ, потому что лишь одно меню с синей кожаной обложкой сиротливо осталось лежать на краешке стола.

— Я купил тебе латте, — сказал я, застенчиво улыбаясь. Варя не протянула руку, и я поставил стаканчик перед ней.

Она сидела у стены, на дальнем диване между Пашей и Владом Щуккой; с левой стороны стола расположились вплотную друг к другу Лёша-потэт, Андрей и Катя; с правой — Юрка и Петька, оставив с краю местечко и для меня.

— Володя, мы хотели с тобой поговорить, — начал Андрей, пока я ещё устраивался.

Я кивнул беззаботно.

— Скажи, ты обещал в этот понедельник съездить на суд у Покровского? Ты говорил, тебе вроде бы близко?

— Да, — ответил я, ещё не чувствуя опасности. — Думал, будет время, но не смог.

— Просто смотри, мы рассчитывали на то, что ты поедешь, — продолжал он тоном доброжелательным, но в то же время настойчивым, — а теперь выяснилось, что репортажа из зала суда у нас нет.

Я удивлённо посмотрел на него. Летом я несколько раз ездил вместе с Васей Покровским на ювенальные суды по детям, которых хотели забрать из неблагополучных семей — Суть старалась защищать родителей в таких процессах, — но с тех пор съёмкой начали заниматься Юра и Петя, и я перестал в этом участвовать. А неделю назад мне действительно звонил Покровский, звал на суд в Реутов, но мне показалось это необязательным, а так просто, для компании.

— Скажем так, получилось, что мы проиграли это локальную войну. Это не так страшно, но всё-таки неприятно, — подвёл итог Андрей.

— Да я не занимаюсь ювеналкой, я не знал, что нужен репортаж, это вообще не моё дело, — возразил я ему.

— Нет, подожди, ну, это же связано с твоими убеждениями, — настаивал Андрей. — Ты же разделяешь принципы христианства, а в христианстве разве не семья — главная основа?

— Вообще-то нет, — я и сам удивился, как едко это вышло.

— Андрей имеет в виду, что силы, которые разрушают семью, уж точно против христианства и против русских, — мягко вступила Катя.

Я понимал, что Катя вовсе не собирается меня осуждать и только поддерживает Андрея, да и сам Андрей относится ко мне хорошо — просто им отчего-то важен этот злосчастный суд, на который я не пошёл. Но мне было неприятно. А ещё досадно, что Покровский не объяснил, что к чему, а потом не позвонил и не разобрался со мной лично, а рассказал другим. Хотя ситуация не казалась очень серьёзной — сейчас я скажу им, что всё понимаю, что целиком на их стороне в войне за семейные ценности, произошла ошибка — и всё сразу станет хорошо.

Но тут ледяным голосом вмешался Лёша-поэт:

— Короче, этим судом занимался Покровский, а значит, наша “ячейка”. Для тебя всё шуточки. Ты дал слово и не сдержал, значит, предал. Считай, бросил свой первый коктейль Молотова.

— Я не бросал никаких коктейлей!

— Ну, я же образно говорю.

Подошёл маленький официант с двумя полными подносами, ловкий, как я пять минут назад, и принялся выкладывать на стол картошку фри, напитки, несколько крупных гамбургеров. Щука дотянулся до своего стакана и принялся жадно заглатывать колу, так что набухли вены на его бычьем горле. Варя сидела, глядя перед собой. Кофе, который я принёс, она не отпила ни разу и даже не открыла крышку стакана — из маленькой дырочки тоненькой струйкой поднимался наверх пар, как дым от индейского костра над вигвамом. Она знала, что я виноват, а когда человек виноват, то справедливо его ругать. Но в то же время я был её парнем, а значит, во всём, в чём виноват я, виновата и она, и ей было стыдно за себя, а значит, она раздражалась сейчас на меня за свой стыд...

— Я никого не предавал. Это просто характер. Ты говоришь, что у меня плохой и слабый характер, да согласен, спасибо, я и сам это знаю, — и понял, что говорю это не для Андрея или Лёши, а для Вари, как бы продолжая наш с ней давний и обидный для меня спор.

— При чём тут характер? — разозлился Лёша. — Мы тебя не понимаем, ты какой-то скользкий. Скажи, какую политическую программу ты представляешь? Коммунист или нет? Ответь: да или нет? — и я мог бы поклясться, что они с Пашей украдкой переглянулись в этот момент.

— Разве можно сказать точно...

— Да чего ты выёживаешься, просто слушай, — резко вмешался Щука, и наступила нехорошая пустая тишина.

Молчали минут пять. Лёша кривился, желая ещё что-то сказать, но сдерживался. Щука монотонно стучал пачкой сигарет по столу, ожидая

конца сцены, чтобы выйти покурить. Юрка и Петька приветливо улыбались мне — дескать, косяк, да, но не принимай близко к сердцу, но мне были неприятны их весёлые улыбки, ведь это они сейчас должны заниматься съёмкой, а судят почему-то меня. Поднос с двумя большими брикетами с картошкой фри стоял в середине стола, и я с запоздалым сожалением подумал, что зря сразу пошёл к стойке за быстрым кофе, сделал бы заказ вместе со всеми и ел бы спокойно, а теперь уже нельзя как ни в чём не бывало запустить свою руку и захватить горячие хрустящие картофельные палочки — слишком вызывающим мог бы показаться этот жест после произошедшего.

В этот момент в углу завозился Паша, привлекая к себе внимание перед тем, как заговорить.

— Мы тебя не ругаем, это просто на будущее, задумайся, — начал он проникновенно, по-кошачьи. — Я тебя понимаю, я тоже был таким вот ветхим человеком... Но так нельзя, надо менять себя. Это дружеский совет.

Я ожидал, что он выскажет что-то обличительное, и сначала потерялся от его ласкового тона, но потом мне стало ещё противнее: он получался со всех сторон хорошим, а я выглядел неразумным новичком по сравнению с ним.

— Посмотри, что было бы, если бы все поступали, как ты, — продолжал он ещё вкрадчивее. — Чиновники отнимали бы у родителей детей, когда им это выгодно. Пойми, ювенальная юстиция и фашизм на Украине — связанные вещи. Надо сопротивляться комплексно. Нужно принять для себя решение, сделать выбор, с кем ты, — в конце он всё-таки сбился на пафосный тон.

— Но это уже слишком, давайте закончим, — вмешалась Катя возмущённо. И даже Андрей закивал, соглашаясь с ней.

Они ещё разговаривали о чём-то другом, забыв обо мне, а я сидел, потухший. Несколько раз натянуто улыбнулся Кате и Андрею, чтобы они не заподозрили, что я обижаюсь на них, но ничего не говорил, да и не слушал других. Думал, как бы нам сейчас не ехать домой вместе с Варей, и встрепенулся, когда услышал, что ей нужно ещё согласовать с кем-то списки “ячейки” на осеннюю школу, и только не знал, лично ли согласовать и надолго ли она поедет к этому кому-то, или будет это делать из дома по сети. Мои несъеденные картофельные перья остались разбросанными по подносу, как деревья после урагана.

Всей компанией мы вышли из кафе. На площади, где недавно закончился митинг, осталось ещё довольно много людей. Несколько человек грузили в машину тяжёлые колонки. Двое с камерой у сцены записывали запоздалое интервью с женщиной в красной куртке. Мы зачем-то остановились у входа в метро, я откинул капюшон и огляделся: как же хорошо было стоять здесь, на просторной площади, отдалённым от других завывающим историческим ветром, и наедине с самим собой переживать хлёсткие слова Кургузова, но в то же время ощущать себя единым с остальными, такими же, как ты, так же мечтающими менять историю, спасти страну. Я же не врал там, я искренне пытался быть с ними, за что же мне тогда всё это... Они просто не любят меня, подумал я с обидой, если бы любили, простили бы. И как мне быть с ними, и как же им всем быть со мной...

Я что-то отрывисто и неразборчиво сказал, стараясь не смотреть на Варю, и устремился к метро, запоздало понимая, что если Варе не надо куда-то ехать сверять списки, то мой побег выглядел для них совершенно нелепо. Эскалатор подхватил меня, неотвратимо отдаляя от момента, когда можно было ещё всё исправить; я соскользнул с последней ступеньки и ещё долго стоял у железной перегородки, мешая людям. Может, повернуть назад, отшутиться, сказать, что всё понимаю и раскаиваюсь? Ведь если я уеду, моя вина отпечатается на мне окончательно... Но не мог сделать шаг на соседний эскалатор.

В вагоне метро, угрюмо глядя в нервно вздрагивающую темноту за окном, почему-то вспомнил о родителях. Моя мать жила с отчимом, неплохим в общем-то человеком, который относился ко мне, как к сыну. Там, в уральском городке, их жизнь была размеренной и понятной: работа, огород и поездки к родственникам на юбилей и свадьбы детей. Я мог бы неожиданно приехать, и мне были бы рады, но вряд ли я поделился бы с ними тем, что

меня волновало. Я наперёд знал те простые рецепты, которые они дали бы мне, — или это было потому, что я никогда не пробовал воспользоваться ими? Ещё можно было бы поговорить с друзьями. Но Рома находился далеко, да и ему пришлось бы писать, потому что болтать о таком по скайпу было неловко. Оставался Борис, но к Варе и “ячейке” он относился предвзято. И только с Катей я мог бы поделиться, тем более у нас были похожие ситуации. Но Катя... тоже была в кафе, и тоже видела мой позор, и даже участвовала в нём. К тому же ей сейчас тоже было непросто с Андреем и “ячейкой”, и я бы только встревожил её...

Когда я вошёл в нашу с Варей съёмную квартиру, то на минуту остановился, вслушиваясь в пустоту. И почти сразу же сзади раздался скрежет ключа, и я мгновенно расстроился, что Варя вернулась так быстро и нельзя посидеть спокойно, отдыхая от всего этого.

Она молча вошла, положила на тумбу тяжёлую сумку, как немой упрёк, что я не догадался забрать её с собой, когда мы расходились. Принялась снимать сапоги. Я не понимал, в споре мы или нет, и потому не знал, что говорить.

— Сверила? — спросил я невнятно, а Варвара рассеянно подняла глаза:

— Что?

— Списки сверила?

Она кивнула недовольно и шагнула в ванную, а я зачем-то двинулся туда же, а когда вышла, проследовал за ней в комнату. Она стала с ожесточением переодеваться, не глядя на меня, — долго снимала через верх чёрную обтягивающую кофту, старательно выгибаясь, и было видно, как двигаются мышцы на животе. Кофта закрывала лицо, и оттого обнажённое тело выглядело и напоказ доступным, и равнодушным, не чувствующим моего взгляда.

Близости у нас не было уже почти месяц, да и до того близость вспыхивала лишь по случайному стечению обстоятельств — исчезла лихорадочная страстность, истощавшая её летом, когда Варя пыталась воздерживаться во время постов и постных дней. Теперь она притаилась и ждала от меня того же, а меня обижала эта затаённость и мысль о том, что к тем-то прошлым мужчинам её страсть не потухала никогда. И оттого мне ещё меньше хотелось прикасаться к ней, я и понимал, что это не мужское поведение, но ничего не мог с собой поделать.

— Ты красивая, — сказал я сейчас, словно надеясь, что эта дурацкая похвала может её смягчить или привлечь.

— Спасибо, — ответила со спрессованной едкостью, посмотрела коротко и зло и мгновенно оказалась одетой и окончательно недоступной. Я смотрел на неё пристально и не мог понять, то ли она действительно равнодушна, то ли напоказ, а внутри бурлит ядовитый водоворот. И хотелось, чтобы водоворот, ведь это значило бы, что мы просто оба, как немые: и могли бы сказать друг другу что-то, пусть даже обидное, но искреннее, но у обоих из горла не вырывались слова.

Я ушёл на кухню и стал греть суп, но знал, что она не будет есть именно потому, что его разогрел я. А может, наоборот будет, чтобы показать, что ей неважно, я ли разогрел этот суп, но в любом случае — и то, и другое окажется плохо для нас. Но она не приходила, и я опять осторожно заглянул в ванную, откуда слышался звук воды. Варвара мыла сапоги, тщательно натирая края подошвы старой зубной щёткой и не оглядываясь на меня. Потом большой сухой тряпкой, бывшей моей рубахой, принялась вытирать их насухо. Я вернулся на кухню и снова остался один. Мне было горько от этого одиночества, но ещё сильнее — от слабости и вины.

Я не помнил точно, как получилось, что всё настолько натянулось между нами. В первое время Варя, оглушённая недоверчивой женской радостью, многое прощала мне, лишь бы я находился рядом и не обманул её. Но постепенно настоящая жизнь возвращалась в неё, и прежние правила мира, в котором каждый должен терпеть и работать, распространялись уже и на меня, а то, первое, оказывалось только начальным послаблением, и досадно ей было, что я не оценил его, неблагодарно решив, что так будет всегда. Если я мало занимался информационной войной или пропускал собрание

“ячейки”, она почти не упрекала меня, но становилась подавленной, не отвечала на расспросы, не смеялась шуткам. И в этом, кажется, не было позы, она не пыталась специально мучить меня, просто сразу оказывалась как будто виноватой за меня и прожигала себя этой виной.

Проходило время, мы по-прежнему смотрели каждый день новости, по-прежнему ходили на собрания, но события на Донбассе не разворачивались уже так стремительно, как раньше, ополченцы не оставляли и не захватывали крупные населённые пункты, объявили перемирие, линия фронта замерла. Все вокруг, даже люди из “ячейки”, стали постепенно уставать от надрывного состояния войны. Уставала и Варя, но вместе с тем злилась на себя и других за эту усталость. Бывали вечера, когда она приходила, накрученная, с силой бросала на пол сумку и принималась рассказывать, какие отвратительные и слабые люди вокруг, даже в соседних “ячейках”, даже в нашей, как они не держат своего слова или врут, как мало делают. За такой вечер она могла раза два-три сходить в ванную — ей хотелось отмыться от их душевной грязи, словно бы прилипавшей к ней на самом деле. Я соглашался и поддерживал её негодование, и это сблизало нас в тот момент. Но потом, через день-два, сам оказывался в чём-то виноват, и тогда мне казалось, что она идёт сейчас мыться, чтобы очиститься от прикосновений ко мне...

Неожиданно Варвара сама вошла на кухню.

— У меня есть предложение. Давай помолимся, чтоб поездка на школу пошла тебе на пользу, и ты смог отказаться от себя.

Она очень редко заговаривала со мной во время ссор, и это не несло нам ничего хорошего. Я помнил о завтрашней поездке в Васильевское на две недели и даже ждал её с интересом, но теперь, после разговора в кафе и вот этих Вариных слов, школа представлялась мне курсом лечения в больнице или тюремным заключением.

— Так проблема во мне?

— А в ком? — она любила так вот спрашивать, как если бы моя вина была очевидна. Выходило, что она права, но от этой правоты было противно.

— Разве я хуже других? Это Юра должен был снимать, а Покровский ничего не объяснил...

— Ты никак не можешь понять, — начала она, проговаривая слова чётко и внятно, — нельзя смотреть на других. Есть идеальное, абсолютно-правильное поведение... ты должен сравнивать себя с идеалом. Да, мы часто поступаем не так, но в таком случае ты должен ощущать, что не прав, что поступил плохо... и должен отдавать себе в этом отчёт. Вот, теперь ты даже молиться не хочешь, это показатель. Ты разве не видишь, что с тобой происходит?

— Ты должен, должен! Почему я всё время должен?

— Потому что обещал, и тебя никто не тянул за язык.

— Я делаю, что обещал. Сходил на митинг, еду на школу.

— Это из-под палки. А нужно всё делать с любовью, — это было её фирменное выражение, после которого слова теряли смысл: нечего было доказывать, ничего уже не зависело от меня.

— Я тебя и так люблю, — сказал я, пытаюсь поймать краешек ускользающей нити.

— Ты не меня любишь. Всё самое главное в моей жизни — для тебя пустой звук.

Она отошла к раковине и принялась мыть тарелки и аккуратно ставить их в сушилку, висевшую рядом. Тарелки были одинаковые, с крупными розочками, мы покупали их летом, когда переехали на эту квартиру. На Варе был домашний халат, который нравился мне раньше. Он скрыл её тело, которое полчаса назад я мог хотеть, и остался только домашний халат, и наша общая кухня, где журчала вода, и тарелки, ровным рядом ложившиеся в сушилку, — как иллюзия того, что у меня есть свой дом и любимая женщина, и всё у нас хорошо. Вот только к самой этой женщине я, кажется, действительно ничего не чувствовал...

Постепенно Варвара стала уходить в себя всё чаще, уже без видимого повода, и я не мог угадать, когда это случится. При любом подозрении ходил

по квартире осторожно, боялся заговорить — вдруг что-то скажу не так, подавляя себя необходимостью заслужить её прощение или разжалобить. И уж конечно, нельзя было даже надеяться на близость в такие дни, хотя в этом был и выход: лишив меня близости, она чувствовала, что я понёс необходимое наказание, и опять примирялась со мной, словно из копилки моих грехов вынимали один за время терпения. Безопасно было ездить по воскресеньям в храм: во время службы достаточно было расслабиться и просто стоять, думая, о чём хочешь, и это засчитывалось как праведное дело. В храме мне обычно становилось жаль её и себя, и я выходил, расстроенный, а Варвара принимала это за восприимчивость к молитвам и очень ценила, так что вечер воскресенья был обычно самым тёплым временем нашего недельного круга. Но начиналась неделя, ждала меня новая порция видео, обязательных к просмотру, газеты, обязательные к прочтению, в среду — собрание “ячейки”, в пятницу — общее московское собрание, а там — чёрные и белые люди, одних нужно было вместе с ней презирать, других слушаться беспрекословно.

Я знал, что сам виноват, что не в силах поддерживать ту степень напряжения собственной жизни, которую каким-то образом поддерживает она, и что во мне мало той самой страсти, о которой говорит Кургузов, и что, может, именно поэтому у меня так мало страсти к ней как к женщине, но ничего не мог с собой поделать. Я и хотел бы стать крепким и уверенным в себе, и может быть, если бы я пробудился, как мечтали люди из “ячейки”, то смог бы и Варю вырвать из её ада. Но если бы я был, как они, то и не хотел бы вырываться, растерянно поморщился я, не зная, что же это значит и о чём же мне думать дальше...

Вдруг Варвара шагнула ко мне и провела рукой по плечу, внимательно глядясь в моё лицо, а я с ужасом смотрел на неё в ответ. Почему, почему она теперь сама подошла ко мне, лихорадочно думал я, неужели потому, что я напомнил, что был на митинге и завтра еду на школу, или потому, что сказал, что люблю, а она холодно ответила. Или ей просто плохо от нашей ссоры. Но нельзя было показать, что я не рад этой внезапной ласке, чтобы она не расстроилась и вдруг не решила, что я гоню её, — и тогда я осторожно притянул Варвару к себе. А она прижалась губами к моим губам и даже не целовала, просто приникла и тяжело и сильно вздыхала, словно бы хотела вытянуть из меня воздух.

Я поддался, опять боясь не оправдать её надежд, и повалил её на узкий кухонный диван, как если бы испытывал сильную похоть, но неловко прижал рукой волосы, отчего лицо её вздрогнуло.

— Прости. Больно? — спросил я виновато, но она ещё сильнее содрогнулась и нетерпеливо встряхнула головой:

— Нет, нет, давай...

И это нетерпение сначала сковало меня (опять я сделал что-то не так), но потом засов внутри расцепился: я мог быть уверен в её желании, а значит, и сам имел право распахнуть равнодушный халат и остаться наедине с телом, которое так притягивало меня недавно, и нельзя было обвинить меня в том, что я ласкаю его, ведь это же потому, что я хочу её, а хочу, наверное, потому что люблю...

Варвара закрыла глаза и лежала так до конца. А в последний раз коротко дёрнувшись, подалась вперёд, чтобы поцеловать меня в грудь, но не дотянулась, а лишь провела по ней кончиком носа. И этот жест, неловкий, произвольный, уже ненужный ей для достижения своего, почему-то тронул меня. Всё ещё продолжалось, она лежала, слегка улыбаясь, глядя на меня, а я думал: неужели же мне трудно поехать с ней в Васильевское, если она так хочет. И я даже понимал, что мысли мои чересчур наивны и что я нарочно нагнетаю собственное воодушевление ими; мне лишь хотелось бы чувствовать так и на этом порыве преодолевать все трудности. Но я понимал и эту наивность, а оттого нарочитые мысли мои становились тяжелее, и уже были не просто сентиментальным бредом и могли даже не выветриться после моего последнего движения.

Мы лежали рядом, неуклюже скрючившись на неудобном диване, я запрокинул руку, чтобы оставить больше места для наших тел, а Варя горячо дышала мне в локоть и иногда так же бесцельно и приятно целовала его.

— Я бы не выдержала ещё две недели, — сказала она весело. Я удивился, но потом понял, что она имеет в виду: на школе парни и девушки будут жить раздельно. И обнял её, потому что мне показалось, что я бы тоже не выдержал...

Потом мы ели тот же суп; как и много раз до этого, ложились спать; а наутро пролился в окно тот же запоздалый и уставший за полгода рассвет. Варя спала непривычно безмятежно. Под одеялом было горячо от её раскалённого сном тела, а снаружи — холодно, но, выбравшись и замёрзнув, я не забирался обратно, чтобы не потревожить её. Иногда ещё поворачивал голову и следил, как от Вариного дыхания кольшется нечаянно воткнувшийся в одеяло волос, похожий на чёртика из проволоки. Озорной чёртик, он сопротивлялся смешно и играючи, ему было приятно, что Варя дует на него. Я опять пытался рассуждать о том, как просто отдать две недели жизни, а может, и всю свою жизнь человеку, который тебя любит, и Родине, которую любишь сам, но проговаривал я это с всё большим надрывом, отчаянно убеждая себя, не давая себе усомниться в спасительной окончательности такого вывода, как нащупанного дна под ногами. Осторожно просунул под одеяло ступню, но только на чуть-чуть, и жара не чувствовал, а только остывающее тепло простыни под ногой...

— Я написала тебе доклад, — услышал я её бодрый голос, когда разлил глаза. — Только надо его выучить.

— Спасибо, — виновато улыбнулся я и приподнялся с кровати, сонно наблюдая, как Варя стремительно ходит по комнате, занятая сбором книг, распечатанных листов, аптечки, одежды, и с увлечением перебирает мои вещи.

— В дорогу наденем вот эту, шерстяную, там будет холодно. А рубашка праздничная, её можно на открытие...

Я медленно оделся и пошёл в ванную, но на полпути остановился и сел за компьютер, принялся бесцельно “кликать” на случайные страницы. Варя не беспокоила меня, иногда ещё на секунду присаживалась на кровать, прикивая ко мне, а потом торопилась дальше. И вроде бы всё было хорошо, и, кажется, мы всё-таки любили друг друга, но мне досадно было от её радости и от того, что ей так важна будущая школа у Кургузова, а мне нет, и даже долгожданная близость ничего не изменила между нами. Почему же я так не хочу туда ехать теперь, неужели же исключительно от обиды, но ведь это же глупо! Если нужно ехать, то нужно, если они правильно верят и правильно говорят, и я верю в то же самое, то я должен быть с ними.

На стене, над нашим столом, по-прежнему висел карандашный рисунок с человеком, поднявшим своё чёрное сердце. На него так хотели быть похожими Паша и все остальные. Он висел так же, как в Вариной комнате в общежитии, когда я приходил туда первый раз. И я подумал, что пройдёт ещё полгода, и ничего не изменится, и мы не станем ближе друг к другу, может, только иногда, вдруг устав от одиночества, всплеском приникнем к человеку рядом, напьёмся его теплотой и, утолив жажду, опять откинемся на безопасное расстояние, чтобы в который раз осознать, что каждый из нас — один, и не понять нам человека рядом, и не быть понятым им никогда. И как же это они в “ячейке” хотят сделать счастливыми всех, установить справедливость для всех, если даже один, вроде бы так сильно любящий человек не может понять и осчастливить другого, вроде бы любимого...

— Я заварю зверобой? Он для работоспособности, будем пить в поезде, — Варя заглянула в комнату и принялась доставать из ящичка в шкафу пузатый термос.

Я кивал послушно и обречённо. И чтобы она не догадалась, что мучает меня сейчас, подошёл к ней сзади, взял руками за острые локотки и поцеловал в голову — и задохнулся от травяного запаха её волос и собственного отчаяния.

Встречались с остальными на “Киевской”-кольцевой. Стояли в центре зала, перегорев проход, со здоровенными рюкзаками, как туристы. Но самый большой был у Щуки.

— Что это там у тебя? — со сдержанным восхищением спросил Андрей и похлопал по боковой кармашку, но там неожиданно звякнули вразнобой стеклянные бутылки.

— Надеюсь, это газировка, — строго посмотрел на него Андрей, и не понять было, то ли он серьёзно, то ли строгость его так, для проформы. — Ты ж знаешь, Владленыч категорически против спиртного на школе.

— Конечно, будем веселиться от газировки, — усмехнулся Шука, как над маленьким. Андрей оглянулся на Пашу, тот подмигнул и небрежно махнул рукой.

Они стояли и ждали Юру с Петей, завязался весёлый разговор, и Варя смеялась, раскрасневшись от предвкушения поездки, как лыжник перед спуском с крутой горки, красивая и особенно чужая. У меня оставалось ещё минут двадцать, чтобы решить, еду ли я в Васильевское или всё-таки остаюсь.

У вагона стоял Вася Покровский с кем-то невысоким — сначала я подумал, что это его девушка, но, приблизившись, увидел женщину с некрасивым рыхлым лицом, видимо, мать.

— Варвара Сергеевна, пожалуйста, — отчаянно подалась та к нам на встречу. — Вася говорит, телефон там не ловит, но какие-то средства связи-то будут? — она всё время всхлипывала.

— Дайте мне свой номер, я лично отправлю сообщение, что всё хорошо, — ответила Варя вежливо, но с той равнодушной нотой в голосе, по которой можно было понять, как она относится к такого рода словам.

— Секта какая-то, за что же нам такое наказание, — не удержалась женщина. — Вы одна здесь нормальная, — а Варя только нахмурилась и молча ждала, когда же та найдёт у себя в большой рыночной сумке листочек и ручку. Мне было неприятно слышать эти нервные слова, и я всё-таки встал в очередь на проверку паспортов.

В вагоне оказалось ужасно душно. Я машинально двигался, отсчитывая места. На моём уже расположились Юра с Петей и рассматривали цветастую картонную коробку.

— Приставка, ты дурак, Петь? Ты куда едешь, там, может, и электричества нет...

Громыхая, ввалился в вагон Покровский, и швырнул вещи на боковую полку рядом с нами.

— Отдохну хоть от женских слёз, — бросил он в сердцах, а потом застеснялся этих вырвавшихся слов и отвернулся к окну — благо оно выходило не на перрон.

— Да быстро пройдут две недели, — где-то в глубине вагона разговаривали двое парней из другой московской “ячейки”, я видел их летом в пункте приёма гуманитарной помощи. — Вот спортивные дни — это была жуть, бегаешь по десять километров по морозу...

Я медленно опустился на полку, положил к себе на колени сумку, как будто ехать предстояло в общем вагоне, а вещи обязательно нужно было держать при себе, и ощутил, как бесцельно проходят мгновения, которые нужно было потратить, чтобы, наконец, собраться с мыслями, понять, да или нет, — и вдруг бросился бежать.

С Варей мы столкнулись в тамбуре.

— Почему вещи не оставил? — спросила она недовольно, разозлённая разговором с матерью Покровского, — наверное, подумала, что я решил подышать свежим воздухом перед отправлением.

Я взял её за рукав и задержал в проходе, за ней остановились Андрей и Катя, а за ними — кто-то ещё, на улице, возле проводницы.

— Я не поеду... не могу, прости, в следующий раз, — бормотал я.

Варя смотрела на меня с каменным лицом, и только губы искривлялись. А потом оттолкнула и устремилась в вагон.

— Ну, ты даёшь, Вова, — без упрёка, скорее, с удивлённым сочувствием хлопнул меня по плечу Андрей.

— Подожди, подожди, точно? — отмахнулась от него Катя.

Я коротко кивнул и шагнул на перрон. Некрасивая женщина стояла, вглядываясь в окно вагона, и слёзы текли у неё по всему лицу. Я шёл вдоль вагонов, а навстречу рвались люди, с сумками и без, по двое, по трое, а я старался не смотреть на них, и ощущал себя настолько слабым, что, толкни меня кто из прохожих, не оказал бы ему никакого сопротивления, просто

отскочил бы и упал, согнувшись от боли. На вокзале люди окружили меня плотнее, а потом распахнулись тяжёлые деревянные двери, и я вырвался на огромную площадь. Я знал, что виноват, что, может, буду потом сильно жалеть об этом, но вокруг был только свежий головокружительный воздух...

18

За две недели, пока длилась осенняя школа, мы ни разу не созвонились, а потом Варя не приехала домой, и я понял, что сама по себе наша ссора не рассосётся и всё уже не будет таким, как прежде. А на следующий день после окончания школы мы встретились с Катей, и она рассказала мне, что случилось там.

Когда я вышел из вагона, Варя долго сидела неподвижно, не снимая куртки, и только ожесточённо царапала ручку сумки.

— Мне не везёт с мужчинами, — тихо сказала она Кате. — Сама виновата, это Бог меня наказывает.

Поднялась и начала застилать постель на верхней полке. Потом легла лицом к стене и уже не поворачивалась больше. А Катя жалела, что не удалось разговорить её и выяснить больше про нашу ссору...

Катя первый раз была в Васильевском, и сначала обстановка этого места поглотила её мысли целиком. Раньше она представляла себе всё в виде дорогого пансионата в ближайшем Подмосковье, где они отмечали защиту диплома с однокурсниками, а иногда ещё — в виде огромной палатки на запылённой снегом поляне. Но в реальности было ни то, ни другое: участники школы жили в помещении бывшего пионерского лагеря, который находился рядом с заводом, размещались в комнатах по четыре человека, и только у руководителей были маленькие одноместные закутки, по-видимому, раньше предназначенные для вожатых. Топили плохо, особенно в первый день; промёрзшие стены никак не хотели отогреваться, и все ходили и даже спали в куртках. На корпус оказались всего две душевые кабинки, где приходилось стоять прямо на ледяном полу, выложенном советской коричневой плиткой, а вода текла то едва тёплая, то вдруг обжигала кипятком. Но хуже всего Кате было оттого, что приходилось жить отдельно от Андрея. Впрочем, их поселили с Варей, это немного спасало. Кроме них, в комнате жили ещё две нервные девушки, которые постоянно жаловались на условия — выпрашивали себе вторые одеяла, обсуждали между собой, как добраться до города и найти гостиницу, чтобы помыться. Когда они куда-то ушли, Варя сказала про них злое, а Катя, конечно же, поддержала её, а потом стала делать вид, что ей, как и Варе, нравится жить поспартански.

Утро начиналось с приглушённого звука рожка из хрипящего радио, спрятавшегося где-то под потолком. А через минуту в коридоре раздавались всё приближающиеся глухие удары в двери — это дежурный будил отряд на зарядку. Спросонья все выходили на широкую асфальтовую площадку, а там высокий мужчина в военной форме зычно раздавал приказы, и тогда они поворачивались направо-налево, прыгали на землю, отжимались, потом опять вставали и бежали друг за другом — уже не пионерский лагерь, а, скорее, армия. Даже парням было тяжело, но для Кати всё напоминало игру, и она довольно легко приняла её правила, потому что всегда мечтала заставить себя каждый день заниматься спортом.

Потом начиналось то, что Кургузов называл политической учёбой. Все занятия проходили в здании завода: лекции — в просторной комнате с высокими потолками и сетчатыми решётками на окнах, похожей на спортзал, а семинары — в небольших подсобных помещениях за старыми массивными партами, стол и лавка которых были вылеплены из одного куска и покрыты мутно-голубой краской. Занятия длились по полтора часа, как в университете, а потом нужно было сразу торопиться на следующее согласно расписанию, которое выдали в первый день. У них с Андреем оказались разные предметы, и Катя сильно переживала из-за этого и стремилась увидеться с ним хотя бы на “переменах”. То, что рассказывали преподаватели о современном

коммунизме, или об украинстве, или о борьбе Кургузова с либералами, — Катя слушала мельком, сквозь свои тревожные мысли; в поисках нужной аудитории путалась в закоулках завода и то и дело выходила на внутренний двор к приземистому зданию кузни, из которой доносились размеренные лихие удары молота. В кузне работали высокие жилистые парни, вышедшие словно бы из советских фильмов. Двое-трое из них всегда стояли во дворе и курили, весело поглядывая в сторону Кати, но не позволяя себе ни грубоватой шутки, ни даже пристального взгляда в сторону выскочившей откуда-то девушки, раскрасневшейся от волнения и растерянно озиравшей вокруг.

Она боялась, что в Васильевском ей будет тяжело, но оказалось в общем-то терпимо, а на занятиях — ничего особенного, кроме обычной одержимости коммунистическими идеями и нагнетанием истерики по любому поводу. А иногда становилось даже интересно, например, когда однажды все отправились в поход на два дня через лес по соседним деревням. Кате нравилось, что в походе можно было идти вместе со всеми, но в то же время думать про себя, и никто не мог бы заподозрить, что ты занимаешься чем-то предосудительным. Лёгкая дребезжащая тревога в душе не проходила и на природе, даже когда Андрей находился рядом, но тревога эта была привычная, с ней можно было жить и иногда даже чувствовать себя счастливой. В такие дни можно было вспомнить, что осталось не так много времени до конца школы, а дома в нижнем ящике комода лежит приготовленное Андреем золотое кольцо, которое он уже давно купил, но, видимо, всё не решается подарить и сказать те слова, которых она давно ждёт от него, и вроде уже не так радостно будет это предложение, но ведь будет же, и никакой Кургузов не сможет ему помешать.

Катя всегда воспринимала Сути как нечто чужое, в котором, тем не менее, можно найти хорошие черты, например, их настойчивую защиту семьи, и использовать это в разговорах с Андреем, чтобы убедить его в чём-то своём. Её деятельность в Сути ограничивалась ведением группы в соцсетях, посвящённой советским плакатам, — это позволяло ей быть свободной и вроде как делать полезное в их глазах дело. К тому же советские плакаты напоминали ей о родителях и о собственном, уже не совсем советском детстве, в них была приятная ностальгия по счастью, домашнему очагу, детям. И хотя детей ни у кого из Северной “ячейки” ещё не было, они с Андреем иногда говорили о ребёнке, и он был даже не против, когда-нибудь потом, после окончательной победы над врагом, и это малое, в чём удавалось сойтись при всех различиях и противоречиях, согревало Катю и давало ей силы.

Её не подчиняли слова Кургузова, она ничего в них не понимала и понимать не хотела, но в весёлости политического кружка было что-то приятное, и тогда деятельность Сути могла даже на время увлечь её, как ребёнка увлекает игра с другими детьми во дворе, и она могла забыть и задержаться там допоздна, и даже стать заводилой в игре, распорядиться и с удивлением видеть, как эти дети иногда начинают слушать её. Кате нравилась Варя, она могла поговорить с Васей Покровским, а иногда даже с Лёшей-поэтом, он был, конечно, смешной, но в общем-то добрый. И даже к Паше с его возвышенными, но невесомыми словами, которые падали, как бисер, она уже почти привыкла. Но потом возвращалась домой и вдруг вспоминала, что все эти дети заражены вирусом кургузовских слов, и её Андрей после каждой такой игры заболевает ещё сильнее, и это расстраивало её, и тогда злость подступала к горлу, и хотелось ехидничать и ругаться. Однако раз и навсегда увести Андрея из чужого двора не удавалось, и потому приходилось играть с ними опять и опять... Они вернулись из похода, и начались изматывающие занятия — проклятые либералы, которых нужно было победить, коммунисты, которые всегда всё делали правильно, и Катя принималась исполнять свою роль весёлой девушки, не задающей лишних вопросов, а скользящей по жизни, каждому готовой улыбнуться и с каждым поболтать.

В один из дней Кате показалось, что у неё задержка. Она не сказала об этом Андрею, но весь день носила в себе затаённую мысль. Вместо занятий их собрали в тот день в большом зале и показывали документальный фильм про трёх ребят из Сути, которые отправились воевать на Донбасс и погибли

во время летнего наступления украинской армии. Большинство приехавших на школу уже видели этот фильм, да и Катя тоже: его показывали на собраниях “ячейки” ещё пару месяцев назад. Но Кургузов специально привёз из Москвы проектор и железный тубус, похожий на гранатомёт, из которого вытягивалось белое полотно экрана, чтобы ещё раз напитать сутевцев ненавистью к врагам. Он сам пошёл за пульт, и в тёмном зале, заглушая закадровый голос, принимался говорить резко, как стрелял очередями: мы должны запомнить эти лица... мы должны жить так, чтобы не стыдно было перед героями... На экране крупным планом показали рваную рану, ошмётки человеческого мяса, запёкшуюся кровь, и Катя почувствовала, что её сейчас стошнит прямо под ноги. Потом включили свет, и Кургузов шёл от задних рядов к передним, продолжая говорить, а Катя видела, как эта уродливая рана всё ещё отпечатана на белом полотне экрана, уж использованного и ненужного, сиротливо оставленного висеть на дальней стене. Кургузов стоял невероятно близко, в полуметре от её стула — Катя ощущала, как трясутся его руки в приступе ярости, как от надрывного голоса дрожат под потолком сетки на окнах, и тогда вдруг подумала, что настоящий план Кургузова — не Андрея забрать на Украину, а вырастить её ребёнка в “ячейке”, зомбировать его ежедневным “надо отомстить, надо погибнуть”, а потом вырвать из Катиных рук, чтобы он пошёл на какую-то новую войну и лежал бы вот так вот, перемолотый на бойне, её красивый русский мальчик...

В тот вечер была её очередь дежурить на кухне. В тесном сыром помещении бестолково толпились несколько девушек, не зная, за что же им браться, пока ответственная за питание ещё не подошла. Стоял сильный запах газа. И дышать было тяжело, и сильно дуло из открытой в ноябрьский мороз форточки. Катя нарочно протиснулась подальше от окна к большой раковине и принялась отмывать накопившуюся после ужина посуду.

Пришла ответственная, раздала задания, вдруг всё закрутилось. Две Катины соседки должны были чистить громоздкую плиту, напоминавшую промышленный станок, на которой стояли несколько замасленных чанов. Но, бестолково помявшись рядом и поворчав, они вскоре побросали губки и ушли. Постепенно на кухне не осталось никого — кто-то отправился на работу в другой блок, кто-то просто сбежал, и только Катя продолжала машинально мыть тарелку за тарелкой. Она пыталась понять, как сказать Андрею о беременности, и ей было обидно от того, что она сама ещё ребёнок, забытый на чужой кухне, и о ней самой ещё нужно заботиться, а вместо этого она стоит сейчас и подбирает слова, которые можно сказать Андрею, чтобы он всё правильно воспринял, хотя это не она, а он должен был бы поддерживать её в этот момент. И она уже злилась на Андрея за его заочную беспомощность.

Рядом лежали уже отмытые ею ножи с широкими лезвиями, какие в мультфильмах обычно принадлежат разбойникам. Катя взяла один из них и несколько раз ожесточенно ударила в алюминиевую поверхность раковины. Та глухо и обиженно звякнула, перебивая шум воды. Катя повернула крупный шестигранник крана и услышала, как тихо было вокруг и внутри неё. Осторожно, ещё с опаской, шагнула к двери в коридор, отворила тяжёлую створку. А потом вышла из кухни и направилась к девушке, назначенной кастиляншей их корпуса, искать второе одеяло для себя.

Но по дороге опять заплутала в коридорах завода и случайно наткнулась на открытую дверь в небольшую комнату, похожую на школьную учительскую, со стеллажами папок, книг и журналов и с овальным столом посередине, на котором стояли остатки недавнего скудного чаепития — чашки, печенье, смятые фантики от конфет. Она заглянула внутрь, надеясь спросить у кого-нибудь, где выход, и вдруг почувствовала близкое движение — справа за дверью спиной к ней стоял человек в пиджаке Кургузова и смотрел в узкое ажурное зеркало перед собой, изредка вздрагивая руками, пытаясь размахивать ими, но не чувствуя сил. Катя испуганно отпрянула назад и замерла в дверях, боясь, что тот услышит её убегающие шаги, краем глаза продолжая наблюдать сквозь щель в двери, не сошёл ли он со своего места. И действительно, вскоре Кургузов повернулся, приблизился к краю стола, бумажной салфеткой брезгливо вытер руки, не замечая девушки, и снова

пропал за дверью, и только слышно было, как несколько раз скрипнули железные пружины. А когда через минуту Катя осмелилась чуть податься вперёд, она смогла разглядеть, что Кургузов лежит на диване в дальнем углу, на спине, прикрыв глаза, и тяжело и глухо дышит во сне. Тогда Катя сделала несколько кошачьих шагов назад и скорее рванула прочь...

А вечером, когда задержка не подтвердилась, ей стало легче, и она опять превратилась в ту же девочку, что и раньше, и не было напряжённого дня, и только шершавые от воды ладони, как рыбой чешуёй покрытые, напоминали о том, что Катя думала и чувствовала во время дежурства на кухне и в комнате, похожей на учительскую. В тот день перед сном им устроили неформальное общение в большом зале — один из первых заместителей Кургузова долго говорил о важности завязывания горизонтальных связей между регионами, призывал знакомиться и общаться, но, в конце концов, все всё равно разбились по привычным компаниям. “Ячейка” Северного округа собралась во дворе у входа в кузню, а Паша даже вытащил оттуда большой молот — ему нравилось покачивать его в руках, словно был древним викингом, поигрывающим страшным оружием, восседая на покосившейся деревянной тумбе без дверцы, в утробу которой кузнецы обычно сбрасывали окурки и пустые пачки от сигарет.

Паша жил в комнате воспитателей и постоянно шутил, что на этой школе будет всех воспитывать. А сегодня увлечённо рассказывал о советском фильме, где учёный с помощью гипноза внушал молодому художнику, что тот Репин, и художник действительно начинал рисовать лучше, чем раньше. И Катя вроде бы и недовольна была его всегдашней болтовнёй, но уже устала раздражаться, приникла к Андрею и чувствовала крепкий и родной запах любимого человека. И все остальные были веселее, чем обычно, может, их тоже угнетал фильм про погибших, так что хотелось немного отдохнуть и расслабиться.

— Научусь гипнозу и буду выводить нас на новый уровень, — довольно обещал Паша, а ребята с готовностью улыбались его шуткам. — Я уж купил себе книжку, там, правда, западные методики. Советские-то труды засекречены! Вот прорваться бы к ним, и тогда нас уже не остановить!

— Глупость всё это, — вдруг отчётливо произнёс чей-то женский голос, Катя удивлённо обернулась и увидела, что это Варя.

А Паша сначала не поверил, что такое можно сказать, и замер с застывшей улыбкой.

— На себя надо надеяться, — добавила Варя, глядя прямо ему в лицо.

— Конечно, на себя, — смутился тот, — но приятно, когда есть помощнички... Ладно, ребята, теперь у нас один организационный вопрос. Нужен человек от нашей “ячейки” на завтра на уборку территории, надо выбрать...

— Ты и иди, ты ж у нас лидер, — опять вмешалась Варвара, и все заулыбались этому неожиданному противостоюнию.

— Ну и пойду, — Паша обидчиво поморщился, но старался не терять уверенного тона: — Знаете, как приятно: встанешь затемно, на пробежку, потом двор подмёл, красота... — и засмеялся неловко и растерянно.

“Акции Вовки растут, — громким шёпотом зашекотал Андрей Катину ухо. — Жалеет, что не осталась в Москве”, — и Катя поспешно кивнула, подумав, что привила-таки Андрею вкус посплетничать, но самой было тревожно от этого разговора.

Катя замолчала... Мы выходили из оживлённого торгового центра, по которому бродили, потому что на улице было холодно. Остановились на ступеньках, ощущая вроде бы ещё даже приятную после стерильного воздуха бутиков прохладу. Я смотрел на Катю и ждал продолжения, но всё ещё беззаботно, как если бы она должна была рассказать мне, что завтра Варя вернётся в нашу съёмную квартиру и мы помиримся.

— Ты не расстраивайся только, ладно? — вздохнула она, и меня вдруг обдало мёрзлым предчувствием, что это был не просто рассказ о Васильевском и о том, что Катя испытывала на школе. И хотелось, чтобы уже скорее, скорее всё стало ясно, но я по-прежнему не верил, что там совсем плохо...

Перед отбоем Катя шла в свою комнату и увидела, что Варвара сидит на корточках, прислонившись к кафельной стене, в небольшом закутке, где располагались раковины, и дрожит, как от холода. Услышав шаги, та с силой вытерла лицо тыльной стороной ладони и хотела встать, но, увидев, что это Катя, только махнула рукой, как бы отгоняя её от себя.

Катя присела рядом, чувствуя спиной холодный кафель, и ласково погладила Варвару по плечу.

— Что у вас с Володей, почему он не поехал?

— Я не виновата, раз он такой слабый, как ребёнок... Я не могу на него опереться, — выговорила Варя шипло. — Конечно, я та ещё сука, но он тоже... — и стала вдруг ожесточённо и грубо ругать не меня, а себя. И Катя даже решила, что это хорошо и, когда школа закончится, мы обязательно помиримся, раз она так страдает после нашей ссоры.

В ту ночь Варя не пришла в комнату, а наутро Катя поднималась по дальней лестнице в столовую и увидела, как они стояли там с Пашей, — тот обнимал Варвару и быстро гладил её по спине, но без страсти, будто просто стараясь ухватиться за складки одежды. А та глядела в окно в пролёте и иногда резко, акцентированно прижималась губами к его губам, а потом опять отворачивалась. Она заметила Катю и отшатнулась от Паши.

А потом, в перерыве между занятиями, они оказались вдвоём, Катя старалась поймать Варин взгляд, но та опять нахмурилась:

— Не говори ничего, — и быстро пошла прочь.

Как шальная, она несколько дней убежала не только от Кати, но и от остальных ребят, встречавших её вопросительными взглядами, — и вроде как все были рады за них с Пашей и вовсе не хотели смущать их, но интересно же было выпросить или хотя бы подглядеть за так вдруг сошедшимися друзьями, узнать, что случилось, а как же Вова Молчанов, они что, поссорились, и вот почему, оказывается, он не поехал на школу... Впрочем, через пару дней все успокоились и привыкли, что Паша и Варвара ходят вместе и живут у него в комнате, и только сами они всё не могли освоиться в этом новом своём качестве. Паша был потерянный, смущённо улыбался и иногда решался приобнять Варвару и подластиться к ней, как кутёнок. Та терпела, целовала его так же коротко и сильно, но потом не выдерживала, грубо отстранялась — ей по-прежнему невыносимо было думать, что все вокруг смотрят на них. Когда Паша выступал, сидела, напряжённая и то удивлённо кивала, то морщилась, если он вдруг фальшивил, и тогда глядела почти с ненавистью. А Паша подходил и смотрел выжидающе, и она небрежно кивала в ответ. Катя наблюдала за ними издалека, и в такие моменты ей становилось жалко его за эти беспомощные попытки, за старательный смех и за нервную самоуверенность перед остальными...

Она сказала мне это и сразу же расстроилась, что не сдержалась. А я вдруг тоже ощутил приступ неожиданной жалости к Паше, но брезгливой, как к насекомому, которому причиняют боль.

— Она его не любит! Знаешь, он раньше столько за ней ухаживал, но не нравился ей как парень. Я же помню, как она на тебя смотрела, когда вы были вместе, — и я горько усмехнулся этим словам. — Ты должен бороться за неё!

— Как я буду за неё бороться, Кать? Ей это не нужно, — сказал я, просто чтобы что-то сказать, не думая.

— Нет, нужно, нужно! Может, она решила, что ты её не любишь, раз не поехал.

— Нет, — замотал головой.

На Москву опустились зимние сумерки, мы двинулись вниз по ступенькам, а вокруг гудел огромный вечерний город, и голова кружилась от шлепота шин и холодного ветра, и мелькавших вокруг огней: слева — подмигивающих шариков в стёклах торгового центра, справа — ряби автомобильных фар. А мы шагали по узкому тротуару вдоль шоссе, и всё мешалось вокруг, и только чей-то нудный и неестественно весёлый голос рекламировал распродажу шуб. Мы не могли больше говорить о нас с Варей, и я стал машинально расспрашивать Катю о них с Андреем. А ей и неловко, и стыдно было

отвечать, и она отделивалась короткой фразой, мгновенно тонувшей в городском гуле. Но постепенно ей, наверное, стало казаться, что это хоть немного отвлечёт меня от тяжёлых мыслей, и тогда рассказала, что уволилась с работы, а Андрей перешёл на полставки, чтобы больше уделять времени “ячейке”, и ей это не нравится, конечно, но пусть, и только грустно, что они теперь совсем не ходят в церковь и что она никак не может доказать Андрею своё. Слова доносились до меня обрывками, я не разбирал половину, но это было уже неважно.

— Так ведь и Андрей не может доказать, — рассеянно заметил я.

— Он — нет, а я должна смочь, — ответила Катя.

Мы остановились у входа в метро. Я смотрел на неё, и удивительно было, что вот мы гуляем вместе, как когда-то в далёкой юности, но где-то уже случилось то, что отсекло прежнюю жизнь от новой и что уже невозможно отменить. И теперь вокруг нас — чёрная утроба большого города, всё мелькает вокруг, лязгает, и мы стоим посреди этого — всё ещё подростки из прошлой жизни...

— Ты бы знал, как я ненавижу “ячейку”! — сказала вдруг Катя. Я внимательно посмотрел на неё и зачем-то кивнул.

Катя уходила в метро по пологому спуску вниз, словно бы погружалась в землю. А я наблюдал, как она постепенно скрывается из виду, и думал, что ждёт её впереди и что ей гораздо тяжелее, чем мне. Мысли эти текли насквозь, стараясь рябью скрыть от меня главное, от чего разламывалась душа. Катя спустилась в переход, и уже не о чем было больше думать, и нечем себя отвлечь — осталось только кричать горлом на всю привокзальную площадь.

19

Был уже поздний вечер, когда я вернулся домой. Не включая свет, шагнул в нашу старенькую квартиру и задохнулся от Вариного невидимого присутствия. В темноте белым квадратиком горел экран ноутбука, оставленного ею здесь две недели назад, — он у неё никогда не выключался; её одежда в беспорядке была разбросана на сушилке, висела по спинкам стульев, на двери шкафа; её женскими баночками был заставлен туалетный столик в углу — эти вещи постепенно проявлялись в темноте, окружая меня. Она теперь наверняка вернётся за ними, будет собирать их, оставляя мне пустоту полок и шкафов, или даже нет — пошлёт сюда Пашу, ей же захочется, чтобы мужчина совершил ради неё какое-нибудь решительное действие. Но Паши я не боялся, он не мог причинить мне боль, и я даже хотел, чтобы он пришёл сюда сам. Я спросил бы у него: у вас, коммунистов, принято отбивать чужих девушек? А он начал бы бессильно отшучиваться и торпливо хватать вещи, но я не ушёл бы на кухню — пусть он делает это при мне, боязливо оглядываясь, и пусть забудет что-нибудь, а она потом разозлится на него за рассеянность, и тогда он должен будет либо вернуться сюда, либо показать ей, что он всего лишь слабый похотливый мальчик, ничем не лучше меня...

Между клавишами Вариного ноутбука скопилась пыль, так что к ним не хотелось прикасаться, да и не понравилось бы ей, что я заходил туда. Но я всё равно сел за стол и медленно провёл мышкой по экрану. Наверное, где-то там, внутри, — в сообщениях, текстовых документах, чатах — уже были намёки на Варину будущую измену, и я нажал на значок браузера, чтобы обжечь себя ими. Но пока тот грузился, уже понял, что увижу там не переписку с Пашей, а “ячеечное”: расписание следующего собрания, лекцию Кургузова или ещё что. Только открылся интернет-магазин техники, а в нём — фотоаппарат, который я хотел купить, видимо, она готовила подарок к Новому году, и это оглушило меня. Я смотрел на несчастный фотоаппарат и ничего больше не мог чувствовать и ни о чём думать. И не знал, может, мне нужно было бросить сейчас звонить ей, просить прощения, уговаривать вернуться, но разве могли бы мы теперь сойтись, как будто ничего не произошло, разве можно было сказать друг другу хоть слово после случившегося...

Я стал машинально клацать привычные политические сайты — статьи, ролики, длинные новостные видео с телеканалов. Варя часто делала так, черпая силы в ненависти к тем, кто убивал и обстреливал русские города. Сводок последнее время становилось меньше. В вечернем выпуске новостей говорили об укреплении рубля и бюджете на следующий год, я прощёлживал видео, попадая на некрасивые лица, бедные людские квартиры в глубинке, покосившиеся деревенские дома, заседания чиновников — и только раз промелькнула боевая машина с огромными тёмно-зелёными трубами в кузове, из которых вырвались длинные огненные вспышки. Но стал смотреть в интернете тщательнее — нет, это было призрачное ощущение спокойствия: там опять обстреливали, опять умирали, и ожидалось новое наступление украинской армии. Это было сейчас важнее измены Вари, ревности к Паше, важнее собственной жизни.

Я лёг в нашу кровать, вспоминая, что недавно мы были здесь вдвоём, но уже не растравляя себя этой мыслью. Хорошо, пусть так, решил я, но что же мне делать. Может, поискать в интернете, когда будет следующее собрание “ячейки” — сразу ли в эту среду или же они сделают перерыв на неделю-две после осенней школы. Ведь оттого, что Варя изменила мне, война не перестанет быть войной, и если мне действительно дорого то, что происходит на Украине и в России, я мог бы всё равно оставаться с ними. Нет, лучше бы, конечно, прийти так, чтобы Вари в тот день не было и чтобы только потом ей передали, что вот, Володя Молчанов заходил. Она, конечно же, не поверила бы в мою искренность и решила бы, что это всё только из-за неё, да и никто не поверил бы. Я остановился, а обида уже залила мне душу: если не поверят, то кому это нужно, не слишком ли жирно им будет, чтобы я, как загнанный бычок, пришёл, пряча глаза, будто уже раскаялся в том, что не поехал на школу. И почему собственно, вспоминая о войне, я обязательно должен думать о Киргузове. Нет, тогда уж лучше просто бросить всё и уехать на Донбасс...

Я упал в сон, а наутро выбрался из него, как из колючей ваты, встал, вскипятил чайник и сидел на пустой кухне, а эта мысль находилась внутри меня, и я изредка пробовал её на вкус, как горький крутой кипяток. Конечно, это будет сильнее их собраний и школ, это будет настоящий шаг — просто собраться сегодня и поехать к автобусу, на который я передавал инсулин для друга Васи Покровского.

Ещё раз вскипятил чай, но завтракать не стал, а торопливо принялся собираться: тёплый свитер может понадобится, вот эти джинсы старые, их не жалко, хотя, наверно, там должны дать форму. Зубная щётка, аптечка с бинтом и йодом, антибиотики. Потом прервал сборы на половине, набрал ведро воды и принялся мыть полы на кухне, вдруг всё-таки Варя придёт сюда забирать вещи, пусть не думает, что я тут погряз в собственных переживаниях и даже не прибирался. Всё равно ведь придёт, узнает от кого-нибудь, но меня уже не будет. А когда-нибудь, через полгода-год, встретимся мельком и просто постоим минуту в тишине. Оттуда? Да. И как там, страшно? Обычно. Иногда страшно. И всё, и уйти потом, и ощущать, что тебе по-настоящему неважно, что она думает — восхищается ли тобой, жалеет ли, потому что ты уже другой. А она, конечно, не признается себе, что ей грустно, и не позволит себе ни шороха в своём каменном сердце, но всё-таки ей будет горько. И может быть, в тот вечер, вернувшись к Паше, будет чуть более задумчива, чем обычно... Я поддался этим блуждающим мыслям, и уже не мог остановиться.

Опять пошёл в комнату собираться. Иногда ещё садился за ноутбук уточнить, по-прежнему ли автобус отправляется с Тёплого Стана и во сколько. Потом принялся смотреть карту, отмечая маршрут движения, и искать на форумах отзывы о местах, по которым пролегал предстоящий путь. Вдруг прочитал про взорванный мост между Краснодоном и Луганском, который нужно теперь объезжать, и ещё раз стал вглядываться в карту, пытаясь в хитросплетениях дорог угадать, где же он и как изменится маршрут автобуса, насколько близко пройдёт от линии фронта, бывают ли там обстрелы — и сразу накрыло животным страхом. Злосчастный квадратик карты

с зелёными пятнами, пересечёнными жёлтыми, коричневыми, чёрными линиями, заключал в себе тайное, но чрезвычайно важное, связанное теперь и со мной, и если изо всех сил сосредоточиться на нём, то можно было прочитать моё будущее там.

На балконе дома напротив женщина в домашнем халате одной рукой развешивала бельё, а другой сжимала ворот халата и почти приплясывала от мороза. Дом теснился к моему — было хорошо видно, что это белые детские вещи. Я разозлился на женщину за беспечность — вот так вот выходить на балкон, рискуя подхватить простуду, но, тем не менее, мне хотелось смотреть на неё. Не расправив толком бельё, она мгновенно юркнула в дверь и исчезла, а я остался ждать, что она выйдет ещё раз, но лишь scom-канные белые комочки висели на верёвке. Я встал у окна, рассматривая этот балкон и другие рядом. Никого не было, но везде жили люди: стирали, прибирали, ходили на работу, не думая ни о какой войне. Были и другие, которые остервенело кричали о проклятых бандеровцах, но настоящая их жизнь текла вне этих громких слов: они пили водку, изменяли жёнам, изредка растравляли себя ядовитыми разговорами. А были и те, что вроде бы любили свою Россию и даже хотели помочь ей, но оказывались ни на что не способными, и куда ни бросались, всё выходило у них слабо и нелепо, как у меня: был в “ячейке” полгода, а что сделал полезного, непонятно... Один раз работал на сборе гуппомощи, ещё раз отвёз инсулин к тому самому автобусу в Луганск...

Инсулин возник, коснулся меня, а потом вернулся неожиданным оправданием — съездить на день-два, но зато сделать полезное дело, ради которого и погибнуть не жалко. Как там сказал тот мужчина? Двести диабетиков сидят без лекарств. Не вспоминал об этом полгода, а сейчас — на тебе, когда понадобилось, опять усмехнулся — пусть так, но какая разница, если всё-таки поеду. И тогда бросился наспех заканчивать мытьё, побросал в сумку первые попавшиеся вещи, паспорт и деньги взял, карточку взял, и стремительно выскочил из квартиры в подъезд. Но на улице страх накатил с новой силой: сухая зима обжигала, заставляла втягивать шею от холода, казалось, сейчас что-то случится — собьёт машина, будут закрыты все аптеки в округе, кто-то помешает, — тенью двигался по дороге, озираясь, не видя домов, вывесок, едва не натыкаясь на прохожих.

И вот уже стоял в пустом зале аптеки у окошечка, а передо мной лежала пластиковая тарелка для мелочи, потёртая по краям. “Во флаконах или картриджах?” — потребовал ответа недовольный женский голос, и опять захотелось закричать от тоски... Откуда я знаю? Вот будет номер, если привезти не то... Пробормотал невнятное, но она спросила то, что я неожиданно знал, машинально ответил, и вдруг обоим понятно стало, что вот так вот нормально и что ещё нужно сумку приобрести для транспортировки, и хватило денег на карте, расплатился, вышел.

Тусклое солнце смотрело на меня и на промёрзший город за моей спиной, и на огромный прогал впереди. На дорогу с двумя ровными гребешками деревьев по краям, рифлёный забор, за которым бельевой верёвкой тянулся чёрный провод электрички, эстакаду, нависшую над железнодорожными путями. На едва видневшуюся стройку вдали, а там — поднятые лопасти экскаваторов — чудовищ, сдающихся на милость победителя... Ничего не двигалось, вокруг было тихо. Со станции Вешняки, медленно разгоняясь, тронулся поезд, и тяжёлый зимний воздух нехотя раздвинулся перед ним — рельсы, забор, эстакада, побеждённые экскаваторы с досадой терпели его назойливое дребезжание. А когда гул стих, расплескавшаяся было тишина вновь растекалась повсюду ровным холодным слоем. И из этой тишины родился новый, более сильный страх, полный, как целый мир, ясный, как зимнее небо, — страх, что я всё равно умру, поеду на Донбасс или нет, завтра или через двадцать лет. И я подумал, что мне теперь будет страшно до конца жизни. Машинально двинулся вперёд, а вскоре шагал по эстакаде, слева был тот самый зимний город и солнце, и грязное перемёрзшее полотно строящейся дороги, уходящей вдали, а справа — скрытые за сетчатой решёткой деревьев купола. Там, внизу, находилась церковь, мы с Варей не были там ни разу — часто

ездили в центр Москвы, где священником был человек из “ячейки”, но иногда, проходя здесь, я слышал перезвон. И теперь, как на дудочку флейтиста, шёл туда, словно бы церковь и Бог в ней могли спасти меня от страха.

Дряхлое каменное тело храма встретило деловито, редкие люди у порога крестились, входили внутрь. Там растекались по разветвлённым лабиринтам ходов с низкими круглыми арками, а я стоял, лихорадочно выхватывая взглядом отдельные детали, которые должны были сложиться в пазл, объясняющий, надо ли мне ехать или нет, умру я там или нет. На свечном ящике среди баночек с маслами, крестиков, запылённых книг лежали маленькие иконки в пачках, перетянутые резинками, какими бабушки собирают свои жидкие волосы. Среди иконок оказался Лука Крымский, и эта нечаянная перекличка с Крымом испугала меня, словно бы меня нарочно поджидали здесь эти иконки, чтобы я купил их и взял туда, так что я сразу же выскочил на улицу. Слева, почти у самой церковной стены, начиналось кладбище — множество крестов в снегу, я зачем-то направился туда по узкой дорожке, как в чащу зимнего леса, углубляясь в ряды стальных стволов. Поодаль, на круглой большой лужайке, виднелся один высоченный — не крест даже, а памятник. Я приблизился к нему, встал у крупного каменного основания, у которого каплями крови лежали свежие цветки красной герани. На основании была высечена длинная надпись, и как назло — что-то о воинах, положивших жизнь на родных и далёких полях во все времена бытия государства Российского... Мне было безумно, бесконечно жаль себя; казалось, если ехать в Луганск, то нужно похоронить себя уже здесь, в Москве, под этим вот крестом, чтобы там уже не чувствовать замирания сердца от каждой опасности. Только так можно было шагнуть в пучину настоящей жизни и настоящей смерти. Но я не мог просто взять и умереть, мне хотелось бежать от этого памятника и от кладбища...

Потом ещё сидел в кафе у метро, просто ждал, лишь бы прошли нужные часы. На Тёплый Стан приехал в темноте. Не сразу вспомнил дорогу, смотрел карту в телефоне, злился, что могу опоздать, а затем злился, что не опоздал. Автобус тускло светил в пустоте, рядом стояли люди, и казалось, все они смотрят на меня и знают, что я боюсь. Минуту стоял возле кассы, не покупая билет, давая себе возможность передумать.

Как назло, билет попался не в глубине автобусного зева, а спереди, почти рядом с водителем, так что все, поднимающиеся внутрь, могли смотреть на меня. Сел, положил сумку себе на колени, словно бы моя остановка была уже скоро. Начал звонить Кате, чтобы сообщить ей, что я не просто пропал, но тут же испугался — потом, потом, и сразу же выключил телефон, вдруг она перезвонит. Где-то это уже было со мной, вспомнил я, эта же сумка на коленях, сижу и немею от необходимости что-то сделать. И неужели же, чтобы быть сильным, нужно стать кургузовцем, а быть одному, значит, быть слабым и ни на что не способным. Даже просто пойти и умереть одному невозможно...

И задохнулся от страха — нет, нет, что бы там ни было, не могу, выскочил и, не глядя ни на кого, устремился на слепящие кругляши огней у ворот автобусной станции.

20

Утром после того, как остался в Москве, я проснулся и лежал неподвижно, разбитый, как самоубийца, упавший с крыши. Тело было тяжёлым, закованным в саркофаг, и только взгляд бродил по спинке кровати, стенам, занавескам. В окне виднелся балкон соседнего дома. Белые детские вещи были сняты, а вместо них висели разноцветные кофты, но я не знал, что же это означает и означает ли что-то.

Я ничего больше не понимал о себе, внутри была пустота. И постепенно в этой пустоте то ли вспомнился, то ли приснился родной город — единственное зыбкое, далёкое, но, кажется, настоящее в мире. С горы, где виднеются крошечные спички заводских труб, медленно спускается серая дымка газа. Позвякивая, тянутся вдоль дорог трамваи, в которых, сонно покачиваясь, едут

на смену рабочие. Деловито открываются железные окна киосков на остановках. А за трамвайными путями, куда летом ходят на огороды все городские старушки, сейчас снежная пустыня и чёрные остовы садовых домиков. Город погружается в спячку, по вечерам все лениво сидят перед телевизором, и лишь иногда бывает нужно отправиться с отчимом в гараж, чтобы на санках привезти варенье и картошку. Странно, но память не показывает мать, словно та просто разлилась в воздухе родного места, примешиваясь и к заводским трубам, и к трамваю, и к садовым домикам, и к санкам, скрипящим по снегу...

Потом город превратился в деревню, где жили бабушка и дед и куда несколько раз в год съезжалась наша большая семья. Просторная изба натоплена так, что потеют стены, все вплотную втискиваются за длинный дубовый стол. Мать с бабушкой хозяйничают на кухне, отчим деловито обсуждает с мужиками новости, но иногда отворачивается и терпеливо ждёт следующей рюмки. А дети бегают под ногами, и сначала и не разберёшься, чья это девочка, то ли сестры по бабушке, то ли кого-то из братьев по деду. И вот я смотрю на этих родных людей, но понимаю, что это лишь редкий праздник для них, а уже завтра они разойдутся каждый в свою обычную жизнь, в тяжёлую работу: мужчины — отдавать своё здоровье на комбинате или в чулом сохранившемся в деревне колхозе, а женщины — в ежедневных домашних делах, в заботе о детях, а потом и в той же изматывающей работе. Но и разойдясь, эти люди по-прежнему будут связаны невидимыми нитями: в следующие выходные мужики соберутся строить дом тем, кто младше и ещё не обзавёлся хозяйством, а кому-то из женщин оставят детей, если нужно уехать по делам. И я бы мог присоединиться к этому большому семейному дереву, отдать ему часть своего молодого тела, как другие ветви отдали когда-то мне, вот только делиться мне, кажется, было нечем. Я вновь лежал на кровати в квартире в Москве и ощущал себя куском пластика, в котором глухо и напряжённо стучит сердце.

Второй раз я пробудился разом, неловко поднялся и сел на краешке кровати, свесив ноги к полу. Потом медленно двинулся по квартире, пытаюсь опять научиться ходить и заново ощутить себя: хоть я и не умею летать, но, тем не менее, пока ещё вроде бы живой. В коридоре лежал чёрный рюкзак, с которым я собирался вчера уезжать, и я подумал, что, может, это и неплохо, что он собран и что можно было бы уехать, но только не на войну, а на Родину, в её ласковый умиротворяющий покой. Проверил на сайте железных дорог билеты, они ещё оставались, но сил принимать решение не было. Вспомнил, что завтра заканчиваются две недели отпуска на работе, которые я брал для поездки в Васильевское, и нужно тогда попросить дать мне отпуск без содержания на некоторое время — и странно было, почему не подумал об этом вчера.

Долго ещё сидел за столом перед ноутбуком, машинально и бесполезно проверяя соцсети и почту. Ещё до митинга на Краснопресненской заставе мы оживлённо переписывались с Ромой. Я убеждал его, что когда-нибудь экзотика и комфорт станут привычными, и придётся возвращаться и вновь привыкать к реальной жизни. Он же возражал, что ему нравятся тайцы, всегда доброжелательные, никто не хамит ни в транспорте, ни в магазинах, и что мы действительно живём в разных мирах, и мой не вызывает у него ничего, кроме отвращения, причём не важно, русский он или украинский, всюду тоталитаризм, все грызутся друг с другом, и все всех ненавидят. Я ответил на эмоциях, и с тех пор переписка прекратилась. И теперь мне было жаль своей несдержанности и хотелось, чтобы сюда, в мою пустоту, пришло пусть короткое, но тёплое слово. Я перешёл на своё последнее сообщение — вспомнить, о чём там точно, и, может, извиниться за особенную грубость. Но там было невообразимое: про братские народы и предательство, про израненную Россию, чьи язвы я хочу залечить, в отличие от него, убегающего от проблем. Если бы это были слова Вари или Кургузова, которые я просто повторил, мне не было бы так обидно, но это были мои слова! И вот Рома уехал, как и хотел, а я, чувствующий какую-то там израненность и даже понимающий, где пульсирует рана, остался здесь работать, делать рекламные ролики, навещать родных...

Я поднялся на ноги и недоумённо оглянулся вокруг. Внутри по-прежнему лежала пустота, и только разливалась по телу тёплая горечь стыда. Но я не умер от этой горечи, сходил на кухню, выпил воды, вернулся. Поверил этому знанию, запомнил, как факт, как принимают закон физики, вычитанный в учебнике... Все мои слова — ложь, хорошо, пусть так, но это-то хотя бы точно, это хотя бы по-настоящему... И всё-таки не хотелось находиться наедине с мучительным законом долго, и я принялся собираться, чтобы выйти на улицу, может, там будет что-то ещё, другое, новое.

Дома тонули в дымке. Я шёл вдоль дороги, как в замедленной съёмке наблюдая за тем, что происходит вокруг. Старая Москва, похожая на родной уральский городок, встречала тишиной, предлагая навек замереть в здоровой живительной дремоте. С деревьев пучками отрывались последние пожелтевшие листья и медленно падали на асфальт. Супермаркеты находились в другой стороне, ближе к метро, а здесь все ещё спали, людей почти не было, магазины казались навсегда закрытыми, только цветочный на отшибе жался к узенькому проходу на две железнодорожные платформы сплетавшихся здесь веток электрички. Я отворил лёгкую, как из картона, дверь и попал в длинный узкий павильон, заполненный цветами, в которые, как в сугроб снега, провалилась продавщица и беспомощно тянулась то к одному букету, то к другому. Её неловкая торопливость напомнила мне женщину, которая вешала бельё на балконе, и может быть, это была именно она. Продавщица посмотрела ровным злым взглядом, от которого не хотелось злиться в ответ, скорее, пожалеть её хотелось, замерла, не опуская вытянутой руки, и стояла так в нетерпеливом ожидании. Первый порыв был — купить у неё цветы, но мне некому было теперь дарить их. Впрочем, я мог бы вручить цветы ей, но это вышло бы пошло, как в дешёвых сериалах, да и женщине стало бы неловко, будто ей подали милостыню.

Я колебался, а она всё глядела на меня, ожидая движения, чтобы избавиться от лишнего человека в магазине, догадываясь, что я зашёл без особенной надобности. И напомнила мне уже Варю. И тогда жалость прорвалась изнутри — работает здесь, сортирует цветы, продаёт, а где-то течёт жизнь, в которой каждый может обидеть эту женщину, как кто-то раньше обижал Варю и как потом обидел её я. Опустил глаза и увидел под ногами рванный отрезок линолеума и торчащий из-под него каменный пол. Рядом стоял в белой глиняной вазе букет из полевых цветов ровно за тысячу рублей. Я стыдливо вытащил из кармана бумажку, потом сам достал из вазы букет и протянул:

— Это вам.

Она внимательно всмотрелась, потом насмешливо взяла, и мне понравилась эта насмешливость. Вышел в ясную зимнюю свежесть, а там мгновенно накрыло меня тоской: ничего не изменит этот цветок, ничем не поможет ей, и если бы я даже захотел помочь, то не смог бы, как не смог помочь Варе. На ватных ногах шагнул вперёд, а боль двинулась следом, вырываясь в зимний воздух, заполняя дребезжанием автобусный пяточок у магазина, тропинку к железнодорожной станции, по которой мы столько раз ходили, дороги, дома, небо. Я поднялся по высоченной лестнице, ведущей на Чухлинку, забрался в подошедшую вскоре электричку, а потом сидел, машинально глядя в окно, вздрагивая от иногда прошибающего насквозь удара встречной.

На Курском же стремительно шёл навстречу полицейским, загромождающим проход на вокзал. Впереди горели огни стеклянного моста, ведущего на лениво просыпающийся "Атриум". Поднялся в сверкающую сытую желтизну торгового центра, в просторные холлы, где белые лица манекенов окружили со всех сторон. Казалось, здесь-то, в довольстве и мерцании, всё замылено, освобождено от боли, но вот попало одно человеческое лицо, другое, и все несчастные, перекошенные, одинокие посреди показной роскоши, возможно, пришедшие в неё из той же безысходности, что и я, только желая ещё и купить что-нибудь, а потом надеть и пройтись по блестящим коридорам, выпрашивая чей-то даже не восхищённый, а хоть бы завистливый взгляд. Несчастные болезненные люди бродили вдоль бутиков, и с верхнего этажа было видно в прогал, как их много на уходящих вниз этажах,

и никому нельзя было помочь, хоть бросайся вниз и, тщетно хватаясь за огромные шары свисающих на гирляндах люстр, разбивайся насмерть о мраморные полы. Вышел обратно к вокзалу, бесцельно шатался по морозу, понав к уже другим несчастным — нищим, жавшимся к стенам, уныло бубнящим таксистам, мятым приезжим, устало волочившим огромные сумки, — и эти едва ли были счастливее тех, из “Атриума”.

На пути к метро вереницей стояли разносчики хот-догов и кофе. У одного из них задержался высокий полный мужчина в пальто, держа в руках толстенное от красных купюр портмоне, тщетно выискивая мелочь. Он негромко пошутил, а молодой парень-киргиз беззаботно засмеялся, с силой нажимая на красный краник массивного аппарата, и они разошлись, довольные и весёлые. А я дождался и подхватил свой тонкий плавающий стаканчик, обжёгся кипятком и тоже двинулся к метро, удивлённо храня тепло этого происшествия, но оно рассеивалось на лету, потому что ничего не изменило вокруг, как подаренный наспех цветок.

А у самого входа в метро я остановился, беспорядочно оглядываясь, и подумал, что здесь, в Москве, те же страдающие беззащитные люди, что и на Урале, и в Питере, и в том же Луганске, и необязательно уезжать, чтобы помочь им, — вот они, перед тобой, помоги хоть кому-то, отдай жизнь хоть одному. И тогда все они разом слились для меня в один огромный организм, который захотелось назвать Родиной. Родина жила здесь, на привокзальной площади, мёрзла на деревянных ящиках из-под хурмы, взмывала в пластмассовый мир бутиков, тряслась по рельсам на тысячи километров вокруг, она была настоящей, я ощущал её в сухом ноябрьском воздухе, она мучилась и страдала, моя погибающая Родина, но я не знал, как её спасти, и нужно ли ей то, что могу сделать я. Бесцельно приехал в центр, принялся выходить то на одной, то на другой станции, как бы торопясь увидеть как можно больше мест и людей. Очнулся, когда в очередной раз ехал в вагоне метро. Передо мной высилась пожилая женщина с дряблым измученным лицом, презрительно глядя поверх меня за то, что я сижу, не уступая ей место. Я торопливо поднялся, но не из вежливости, а потому, что не мог терпеть чужое недовольство. И долго ещё стоял, повиснув на поручне, мотаясь из стороны в сторону, и думал: мне не спасти Варю, не вытащить её из “ячеечного” ада, не помочь людям в Луганске и Донецке, не спасти никого на свете, и не в том дело, что я не могу отдать жизнь, а в том, что это ничего не изменит. Неподалёку седой мужчина устало улыбался, слушая сына лет десяти, а тот горячо шептал ему в ухо, держась за рукав куртки, и мне захотелось так же улыбнуться своей жизни, но не было сил двинуть уголками губ.

А потом в вагон вошли парень и девушка, державшая в руках гелиевый шарик на длинной верёвочке; как шептунной щенок, тот стремился удариться о потолок, едва только она теряла бдительность, но всякий раз она дёрнула поводок, и шарик нехотя плыл вниз. Парень осторожно обнимал девушку за талию, как на дискотеках в средней школе, и было в этой паре что-то такое лёгкое, неокропленное болью, что хотелось постоять рядом, перевести дух от вибрирующего несчастьем мира. Проехал с ними, вышел вслед за ними на “Университете”, а когда встал на эскалатор, увидел на соседнем ещё нескольких молодых людей с шариками. У выхода из метро их стало ещё больше, они сбивались в целые облака и медленно плыли по пешеходному переходу через Вавиловский проспект.

А обойдя главное здание Университета, удивлённо рассмеялся — всё пространство до смотровой площадки Воробьёвых гор было заполнено шариками и горящими красными фонариками, и люди текли вперёд, смешивались, кричали, так что было отчётливое ощущение праздничного карнавала, новогодней ночи. Кажется, все должны были разом запустить фонарики в серое небо, но то и дело кто-то не дожидаясь общего сигнала, и тогда красный “щенок” срывался с поводка и улетал ввысь, гордясь своим первенством, стремясь обогнать отпущенных ещё раньше. Я шагал по аллее от одной молодой студенческой компании к другой, как бильярдный шар, ударяясь о каждую.

— Маринка пришла...

— Автомат никому не поставил...

— Тоталитаризм... — внезапно обожгло знакомое, но и это было не всерьёз.

Голос рябили то рядом, то вдалеке, сливаясь в общий радостный гул, и душа расслаблялась, словно бы я выпил стопку водки после тяжёлой физической работы, и в глазах набухали слёзы, а потом просто потекли по лицу. Пробирался на смотровую площадку, как по живому лабиринту, мимо киосков с горячим глинтвейном, стараясь не задеть чьи-то дрожащие красные фонарики, наклоняя голову, чтобы люди вокруг не заметили, как я плачу. Наконец, сумбурное огненное море вынесло меня к ограждениям, за которыми открывалась раскинувшаяся у подножья Воробьёвых гор Москва, и я мог теперь стоять, делая вид, что просто смотрю вдаль. И в этой возможности не сдерживать себя и плакать посреди моря людей, не опасаясь их насмешек или сочувствия, было внезапное, никак не ожидаемое в этот момент счастье. И разбитое тело моё почувствовалось вдруг постепенно срастающимся в одно целое, может, не такое, каким я его себе представлял раньше, но всё-таки живое и настоящее человеческое тело.

Рядом громко и игриво кричали девочки, когда пацаны нарочно приближали огни к их шубам — отскакивали, догоняли, носились, как бешеные, и опять кричали. Мне приятно была их весёлость, среди них было легко, но слишком легко и пусто. Я ничем не отличался от них, но сейчас среди этих счастливых ребят, в мире праздничной радости, с озорными фонариками, прогулками по московским улицам, уютными кафешками моему вновь обрётённому телу так не хватало боли. Хотелось скорее оставить этот молодой мир и торопиться туда, где настоящее страдание и настоящая жизнь. Но в то же время казалось, пройдёт ещё один тяжёлый год, как этот, а потом ещё и ещё, и каждый из этих ребят станет сильнее, и вместе они станут сильнее, а значит, всё было не напрасно...

По дальним районам, почти у самого горизонта, клубился серый туман, как дым от разрыва снарядов, и размягчённым сердцем я легко поддался этому видению. Будто огромное неведомое зло уже пришло сюда, и зелёные машины с огромными трубами стреляют за Москвой-рекой, и скоро не будет ни этих ребят, ни киосков с глинтвейном, от которого становится тепло на смотровой площадке Воробьёвых гор, ни либералов и патриотов — ничего. Но морок прошёл, и я подумал: почему я верю этой лжи, всё будет — и шаррики, и люди, и дома, и не погибает моя Родина, и я с ней не умираю. Тоталитаризм, вспомнил я случайные слова в толпе и слова Ромы из письма. Моя начальница с работы, Галина Евгеньевна, тоже часто вспоминала про тоталитаризм. И, наверное, они были правы, раз вместе, не сговариваясь, произносили одно и то же. Но тоталитаризма нет в мире — в воздухе, в городе, в поездах, мчащихся вглубь России, в её бескрайних пространствах; тоталитаризм может быть только внутри нас. Но вот я могу сделать так, а могу — иначе, у меня есть жизнь, и я могу прожить её, как хочу: я могу остаться в Москве, но выбираю уехать туда, где больше и тяжелее, и не потому, что воображаю, что могу кого-то спасти, а потому, что сам так хочу, потому что это важно для меня, и если я выбираю свободно, то никакого тоталитаризма во мне уже нет.

Я достал телефон и позвонил Галине Евгеньевне. Я знал, что она, строгая и деловая женщина, была крайне недовольна тем, что две недели назад я взял внеочередной отпуск, а уж просьбе отпустить на несколько месяцев без содержания точно не могла обрадоваться. Но голос её оказался неожиданно тёплым.

— Где-то до февраля, — осторожно предположил я срок своего возвращения.

— На Родину потянуло? — усмехнулась она. — Глушь затягивает. Тут глушь, а уж там-то, я представляю... Смотри, возвращайся! Но если место будет занято, не обессудь.

— Я понимаю, — ответил я и обрадовался её словам — всё было честно: я никого не подводил, и она не давала мне лишних обещаний. Прикинул, сколько у меня осталось денег в заначке, хватит ли на билеты туда и обратно,

поморщился от того, что совершенно не знаю, где там жить, куда идти... Потом позвонил ещё хозяйке квартиры, сказал, что съезжаю, и договорился, что Варя заберёт депозит. Написал Кате подробности квартирных дел, которые нужно было знать Варваре. Вроде бы не осталось больше ничего.

Приехал на Тёплый Стан в половине девятого. У кассы произнёс: “Луганск”, — так, словно покупал билет уже десятки раз. Автобус стоял в темноте, и лишь внутри горел матовый молочный свет. Я поднялся внутрь, сумку с инсулином с трудом втиснул под кресло. То здесь, то там началось молчаливое движение — пассажиры стали заполнять места. Снял куртку, подложил под голову и провалился в ровный густой сон.

Я проснулся глубокой ночью. На душе было сухо и спокойно, страхи улеглись, и только чувствовалась усталость от неудобной позы. Автобус медленно двигался в темноте. Где-то шептало радио. Казалось, что там должны обязательно передавать военные сводки, но звучала известная иностранная песня. На соседнем кресле спал пожилой мужчина, прислонясь головой к мёрзлому стеклу, и было странно: неужели ему не холодно? Снизу вдоль прохода тянулся пунктир маленьких зелёных огоньков. Сбоку от меня сидел парень с планшетом, белый свет выхватывал из сумрака край его лица. А на передних парах сидений, занавесив проход между ними, как будто натянув гамак, спал какой-то бывалый человек.

Я не понял, сколько времени прошло, но ещё не успел опять задремать, как автобус плавно завернул и замер, — бывалый сразу же поднялся, торопливо сворачивая гамак, позади тоже завозились. Я сидел, закрыв глаза, изредка ощущая движение рядом, слыша, как выхлопнула, открываясь, дверь. Потом заглянул в окно — стояли на пяточке у придорожной заправки. Поднялся, разминая затёкшее тело, и тоже потихоньку двинулся к выходу. “Пятнадцать минут”, — сказал кому-то молодой водитель, жадно затягиваясь сигаретой. Справа стояло две фуры, несколько мужиков, видимо, дальнобоев, толпились у палатки с шаурмой. Люди из нашего автобуса шли к маленькой кафешке, притулившейся возле заправки, — там, наверное, можно было купить кофе и какие-нибудь пирожки, но я не стал. Вроде бы почти не ел, но голода не было и не хотелось наедаться впрок.

— Да они сами уголь на Украину гонят... — крепко выругался хриплый голос за моей спиной. — На блокпосту видят — ополченцы, пропускают, а они своих же — за бабло. Не государство, бандитизм сплошной. На передовой не были никогда, только грабить умеют...

Я прислушивался, но эти неожиданные слова царапали меня по коже — это было совсем не то, что я ждал услышать, и я не мог понять, как к этому относиться. Инстинктивно сделал несколько шагов вперёд, словно пытаясь убежать от этих неправильных болезненных слов.

Автобус припарковался к краю небольшого пяточка, за его боком заканчивался асфальт, земля обрывалась в канаву, за которой начинался лес. Голоса ещё доносились, но я не пускал их в себя, стараясь отойти подальше, и осторожно, наощупь, спустился вниз, чувствуя, как ломают ледок в подмёрзшей жиже ботинки. Мгновенно исчезли заправка, автобус, люди — вплотную стояли толстые берёзовые стволы, а за ними всё тонULO в темноте. На душе опять стало тревожно, я замер, вдыхая колючий воздух, вглядываясь в эту страшную неведомую толщу. Казалось, она простирается сюда от самой Сибири и тянется по всей России, наверно, до самого Луганска, и я боялся её темноты и силы, и того, что может так внезапно открыться внутри. Я подумал вдруг, что там, в лесу, наверно, находится настоящий Бог, смотрит на меня сейчас, следит за каждым моим шагом. И, затаившись, ждал, что он скажет мне, может, даст последний подбадривающий знак, чтобы развеять сомнения, чтобы я уже точно понял, что всё делаю правильно...

Но русский Бог молчал. Ветер не усилился, не дунул сильнее, и лишь одиноко трещали ломкие травяные прутья, когда я неловко переступал с ноги на ногу. Стало холодно до невозможности оставаться на месте. Я повернулся и принялся неуклюже подниматься вверх, соскальзывая, пачкаясь в грязи.

Потом мы погрузились в автобус и через несколько минут тронулись в путь.